

1
57



Историческое

ПРЕТОРЫ

11

1964

РВ
С-34

Сибирские ПРОСТОРЫ

Литературно-
художественный
сборник

Орган
Тюменского отделения
Союза писателей РСФСР

6152
Д. П.

ФАБКОМ
связальной
фабрики

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

11
1964

Рукописи до одного печатного листа не возвращаются.

Редакционная коллегия:

**И. Г. Истомин, П. Е. Кодочигов, Г. И. Курбатов (редактор).
К. Я. Лагунов, Л. В. Полонский, А. Ф. Черняев, Ф. А. Чурсин.**

Технический редактор Л. Т. Овечкин.

Адрес редакции: г. Тюмень, ул. Дзержинского, 29. Телефон 36-22.

Подписано к печати 1/VI. Формат 60×84¹/₁₆.

12,5 печ л. Уч-изд. л. 10.

РД 00366. Тираж 3000. Заказ № 11758. Цена 50 коп.

Типография № 1, Тюмень, Первомайская, 11.

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ

ПРОСТИ

Не жизнь прожить,
А поле перейти...
Но поле, поле...
Отчего ж так мало
Жизнь в годы бедствий
Сердце понимало...
И ты меня
За все, за все прости,
Судьба моя —
Несладкая отрада,
Единственный тревожный мой покой,
Но никакой другой мне и не надо.
И нет другой
На свете никакой.
С неведеньем большого ожидания,
С неспражностью позднего свиданья,
Прости,
Что не таким, как представляла,
Таким, как есть,
Меня ты увидала.
Что в горе ты не опустила руки
И голову в беде не уронила.
Что жили от разлуки до разлуки,
Что сына без меня ты хоронила.
И те, как кровь и как заря, цветы,
Что принесла на первый холмик ты,
И все в глазенках черных маяву
Я утреннюю вижу синеву.



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ



Прости.
И сны мне новые навеи,
Я теми, помнишь,
Столько лет живу.
Прости,
Что меньше знаю сыновей,
Что часто ревновал тебя, родную.
И что теперь
Все реже я ревную.
Все чаще матью тебя зову.
За скрытность скорби
И невидность слез,
За то,
Что столько сил твоих унес.
Что надо было
Поле перейти —
Где столько павших,
Жизни не узнавших.
И что другого
Не было пути
У нас
Так долго,
Трудно отступавших,
Но победивших все-таки...
Прости.

ДВА ПУТИ

Как назло, привезли кино,
А нужно идти в тайгу.
Два пути парню дано —
Кино и река Харгу.

Там, на Харгу, стоит отряд,
Писем ждут и газет.
А здесь, в поселке, все говорят;
— Чудак, покупай билет.

Почти все лето в тайге бродил
И снова в тайгу идти.
Трудно в такую глушь уходить,
Когда кино на пути.

Прошла девчонка, плечом толкнув,
Голубичным глазом мигнула.
Парень тоже в ответ подмигнул,
В кино сильнее потянуло.

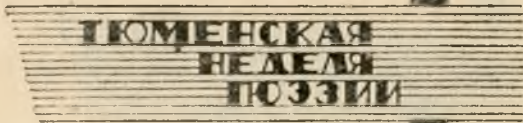
Отчетливо где-то гром громыхнул,
Туча шла из-за гор.
Парень решил и повернул..
Прямо на конный двор.

По узкой тропе всадник скакал,
Плащ за ним развевался,
Нещадно в лицо ливень хлестал,
А он, чудак, улыбался.

Хорошая, видно, у парня душа.
Лицо разгорелось румянцем.
Эх, а девчонка-то хороша,
А после кино—танцы...



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ





СВЕТЛАНА СОЛОВЬЕВА

* * *

Извивалась лыжня белой лентой большой,
 Серебрился снежинок кристалл.
 Я, тебя поджидая внизу, под горой,
 Лыжной палкой «люблю» написал.
 Ты с улыбкой застенчивой мимо прошла,
 Торопливо помчалась в тайгу.
 Догоню в один миг: ты, конечно, прочла
 Это слово на свежем снегу.

* * *

Не люблю отпускные месяцы:
 Будто встал вдруг на полпути.
 (Говорят, даже камень плесенью
 Может запросто обрасти).
 Не люблю посуду порожнюю,
 Не люблю безмятежных грез.
 Дайте воздуху! Грязь дорожную!
 Боль мозольную, грохот гроз!

Ф. ЧУРСИН

ОТЪЕЗД

Облака, словно гривы
Чистокровных коней.
Лепестковые взрывы
Над Россией моей.
Тропы рвутся к полянам
Сквозь сирень до мостов...
Это только мещане
Ищут пять лепестков.
Веря выдумке пошлой,
Кто-то счастья прождет,
Пожалеет о прошлом,
Да назад не вернет.
А у нас — ахи, охи,
Рюкзаки за плечом.
Неизвестны дороги,
По которым пройдем.
Не разводим гаданье,
Знаем край,
Где без цен
Получают мужанье
На юность в обмен.
Люди нашего круга
Занимают вагон.
Лепестковая вьюга
Всей России —
вдогон.

ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

МОЯ ТЁТЯ

Моя тетья. Вы ее, конечно, не знаете. Звать ее Сана. Она мне кажется странной и интересной. Я спрашиваю ее: «Далеко ли ваше стадо?» А она мне: «Нет, совсем близко». «А сколько километров?» «Наверно, десять». «А сколько часов езды?» «Наверно, час...»

А стадо находилось на расстоянии ста километров. И ехать надо было не час и не два, а долго-долго.

У нее нет чувства расстояния и времени в нашем понимании. Сколько километров — ей все равно. Ей ехать и ехать. Только серебристые сосенки мелькают, широкоплечие кедры из-под белых шапок удивленно смотрят, любясь ее вечным движением. И она, наверно, тоже ими любит. Поет им тихо песни, здороваётся с каждым. И они любовью отвечают: от ветра укрывают, в огне горят — дарят ей тепло... Вечная дорога. Она к ней привыкла. И сколько километров — теперь ей все равно. Она — жена оленивода...

Ей тридцать шесть лет. Мне скоро — двадцать два. Мы родились в одной мансийской деревне. Росли в одном доме. Она начала мою берестяную люльку и рассказывала мне сказки. И я засыпал под медленные звуки древней жизни и видел во сне свою сказку. Мы вместе с ней катались с высокой горы на леденистых санках. Вместе падали и смеялись, радуясь снегу, ветру и жизни...

Мы вместе встречали весну. Я маленький, она уже большая. Сначала солнце прогрело снег. Потом забурлила и запела вода. Посинела река. И муравьями зашевелились

льдины. А потом река заблестела под солнцем до самого горизонта, спокойная и нежная река. И поплыли по Сосьве калданки с разноцветными веслами. А моя тетя Сана пела песню:

Почему летает
Острокрылый стриж?
Лодка-белогрудка,
Ты куда спешишь?

Кто там так умело
Взял весло в ладонь,
Чья рубашка в лодке
Блещет, как огонь?

Все в хрустальных каплях
Алое весло.
И от глаз горячих
На сердце тепло.

Потому, быть может,
Сосьва так блестит.
И от счастья сердце,
Словно стриж, летит.

Она радовалась жизни, какой-то новой, непонятной мне. Смотрела на быстрых стрижей, что-то отсчитывала, темные глаза ее, казалось, летели вдаль. Вдруг появилась лодка. Гордым гусем плыла она меж задумчивых берегов сияющей реки. Я помню грустную песню, поплывшую вслед за лодкой:

Лодка, лодка, если б ты
К берегу пристала,
Как бы радостно тогда
Сразу сердцу стало.

Я бы милого дружка
Обняла за шею,
Целовала бы его,
Как одна умею.

Пусть любовь в его глазах
Звездочкой заблещет,
Пусть же сердце у него,
Как мое, трепещет.

Только б он в мой дом вошел
С островерхой крышей,
Вместе сели бы за стол
Рябчика не выше.

И сидели б допоздна —
Я и мой любимый...
Лодка, лодка, что же ты
Проплываешь мимо.

Лодка, как дикая птица, проплыла мимо... Зато с первым снегом прилетели олени. Я помню ночь, сияющую, как бусы на груди моей тети. Светила луна. Деревья спали. И никто не слышал, кроме меня, как скрипнула сонная дверь, как подбежал неслышными шагами колючий морозец, как наклонилась надо мной моя молодая тетя Сана. Только я услышал таинственные слова: «Он меня нашел. Я его искала. Уезжаю. Завтра скажешь отцу. До свидания. Нас ждет дорога...»

На моем лице горел поцелуй. Приоткрылась дверь. В лунном свете видел я, как выходило тепло из нашего дома, как плясали струи. Потом прозвенел снег. И все замерло до утренней звезды. И мне было больно и радостно. Я смеялся, и слезы текли...

А утром долго гадали в доме: куда она делась? А я молчал, как дерево. И был горд за доверие. Скоро отец начал догадываться. «Кто он, наш зять? Каков собою?» — спросил он.

Я сказал, что «он нашел ее», и улетели они вместе на оленях...

Стало все ясно. Оленеводов в колхозе не так уж много. Конечно, самый удалой смог так ловко украсть Сану, конечно, самый молодой мог увлечь вдаль сердце девушки.

Никто не шумел, никто не бранился. Много было смеха. Времена теперь другие. Калыма нет. Осталась одна форма.

Зима. Ночь. Сухой приятный, пахнущий кедром морозец. Тишина. Все спит: и дома, и деревья, и снег. Даже чуткие собаки и те не заскулят, словно их нет. Ночь. Нельзя тревожить ее волшебное спокойствие. Это понимают даже собаки. Но молодые манси и ханты с древних пор почему-то старались нарушить это спокойствие. Ночью они женились. Ночью девушки убегали из родительского дома. Их увозили и на легких калданочках по сверкающей глади

Сосьвы, бурным волнам Оби, и на быстрых оленях средь пляски снега.

Почему ночью? Может быть, потому, что в старину ночью не надо было платить калыма. Убежала — и все. А может, ночью поэтичней выбирать себе друга сердца. И звезды на снегу, и даль в каком-то ореоле — он зовет и манит, и люди кажутся особенными, становятся красивее, и олени бодают небо, и сердца летят... Так моя тетя стала женой оленевода, молодого ханты Микуля, так стала она вечной кочевницей.

...Вчера тетя Сана с мужем приехала из стада в деревню. С недельку они поживут в своем доме. Будут собираться в большое кочевье. А потом опять уедут на целых семь-восемь месяцев, будут весну, лето и осень кочевать в предгорьях и горах Урала.

Вечером все родственники собрались вместе. У южного угла дома убили оленя. По обычаю на месте, где пустили кровь живого существа, были одни мужчины. Вун-Матьвой-ики бормотал что-то непонятное. Кружками и стаканами с наслаждением пили свежую кровь. Разделав тушу, голову отдали варить. А сердце, печень и легкие, разложив на две большие тарелки, подали на стол. На столе уже стояли бутылки спирта. Они были еще не раскрыты.

У стола хлопотала тетя Сана. Она была одета от головы до пят в сиреневую шелковую шаль с переливающейся бахромой. Что бушевало в ее глазах: светилась ли ласковая улыбка, искры злобы ли сверкали или просто леденитое равнодушие застыло — никто ничего не видел. Лицо ее было в шали. Лишь сквозь маленькое отверстие между складок платка, искусно регулируемое левой рукой, она видела, что ей нужно было. Особенно она сторонилась Вун-Матьвой-ики — дядю Микуля. Он, по поверьям манси и ханты, не должен был видеть лица невестки.

Мне было странно. Ровесницы Саны, Матра и Алена, которые тоже должны были закрываться, с открытыми белыми лицами, веселыми глазами смотрели на древних дедов, подмигивали парням, играли острым словом, улыбкой...

А моя тетя Сана, Вун-Матьвой-ики, Микуль и Али-овыл-эква говорили тихо, почти полупшепотом. Лица их восторженны, движенья — осторожны, в глазах такая тайна, что можно утонуть.

Ловким ударом Микуль открыл бутылку спирта, наполнив стакан, молвил: «Найт-отрыт маньси пасан ватан мось

кос согамалэн»¹. На столе стояли большие чаши. Ароматным паром дымилась голова оленя, разрубленная на куски. С одной деревянной чаши смотрели глаза рогатого, а в другой, такой же, лежал его язык.

Восторженные лица, осторожные движения, таинственный полусшепот наполнили торжественностью дымящийся мансийский стол.

Кажется, стол расширился, кажется, дом расширился, кажется, весь мир огромный сегодня в этом доме. Кажется, над этим паром, что чуть не светится радугой, при тусклом электричестве вьются наши боги, которым верит тетя, которым я не верю.

Ойнга-писинга² — и звенят стаканы. Ойнга-писинга — пьют одни мужчины. Ойнга-писинга — пьют уже и женщины. Ойнга-писинга — и я пью вместе с ними.

Вдруг тетя Сана, словно вспугнутая куропатка, сорвалась со своего места и наклонилась к Микулю. «Ты, как эти деревенские, тоже все забыл. Надо бы сначала подняться вам на крышу и отнести шайтану, хозяину нашего дома, дымящиеся глаза душистого оленя, да хотя бы чарочку пылающей воды. Все забыли. Накажут нас шайтаны», — шептала с дрожью в голосе встревоженная тетя.

— Да ну их, этих шайтанов. Если кому надо, пусть спускаются к людям, гостям всегда мы рады, стол наш для всех накрыт. А что забыли — то забыли, не вернешь.

— Йисынга-нотынга³ — звенят стаканы. Ойнга-писинга — хрустят кости. Йисынга-нотынга — целуются женщины. Ойнга-писинга — вкусные глаза. Йисынга-нотынга — льются песни. Ойнга-писинга — богов забыли. Йисынга-нотынга — играет санквалтап⁴. Ойнга-писинга — тетя поет. Йисынга-нотынга — всех счастливей Алена с Матрой.

Ойнга-писинга — у тети на плечо сползает шаль. Ойнга-писинга — радиолоа играет. Йисынга-нотынга — молодежь танцует. Ойнга-писинга — тетя тоже танцует куреньку. Йисынга-нотынга — богов забыли...

...Утром разбудил меня возбужденный голос тети. «Эти люди совсем уж заплутались. Вон смотрите. Татья на ко-

¹ Найт-отрыт (героини, богатыри, боги), хоть на мгновение приблизьтесь к нашему мансийскому-хантыйскому столу.

² Ойнга-писинга — счастья-удачи.

³ Йисынга-нотынга — века вечные жить.

⁴ Санквалтап — музыкальный инструмент.

не верхом несется. Женщина на чистое животное залезла. До чего дожили!»

Я взглянул в окошко. Махая плетью, наклонясь вперед, как настоящий охотник, гонящийся за лисицей по свежему первому снегу, неслась верхом комсомолка итья Татья — конюх колхоза. Она, видимо, погнала молодых коней на водопой. Погода за ночь резко изменилась. Подул север, разыгралась вьюга, и жеребята не хотят идти навстречу летящему снегу и ветру, повертываются назад к теплому конному двору. Но итья Татья (недаром зовут ее итья — резвая) словно летает на своем тонконогом воронке, и жеребята вынуждены ей подчиняться. Они рысцой, хотя и останавливаясь, бегут к водопою. Тетя Сана возмущалась. А жители деревни уже давно привыкли к этому. И я рад за итью Татью: она победила предрассудки.

Тетя Сана, наверно, еще не знает, что ей придется, может быть, жить в одном чуме с итья Татьей: позавчера у нас было комсомольское собрание, на котором решался вопрос — кого из комсомольцев отправить пастухом в оленеводческое стадо. И на всеобщее удивление первой откликнулась итья Татья. Из парней никто не изъявил желания идти пастухом. Пришлось обязать комсомольца Йикора. Его родители когда-то были оленеводами, и он, наверно, ближе к оленеводству, чем кто-то другой и больше толка от него будет, — решили мы.—Послать лучших комсомольцев в оленеводческие стада для ликвидации последних неграмотных, которые остались в основном только среди оленеводов, — решила районная комсомольская организация. Ликвидатором неграмотности поеду я. Послезавтра будет общее собрание колхозников с вопросом: укомплектование оленеводческих бригад новыми кадрами. У оленевода Саккара заболели глаза, ему необходимо лечение. Старые оленеводы Семан-ойка и Унтари-ики тоже хотят ехать, показывают на белую голову: и глаз, мол, не тот, и ноги не те и хорей¹ дрожит в руках, и тынзян² летит не туда, а стадо большое, а волки злые, а дорога на Урал бесконечная, и сам Кев, Камень-Урал, высокий. Молодым уж надо теперь вести вперед наше древнее хозяйство. Вот и обра-

¹ Хорей — шест, которым управляют оленями.

² Тынзян — веревка из кожи. Тынзяном ловят бегущих оленей, метко бросая его на рога.

тились они к комсомолу. Мы решили. Теперь дело за колхозным собранием.

Мне жаль мою тетю. Она очень древняя. Живет по старым обычаям и законам. Закрывает лицо платком от родственников мужа, не поднимается на крышу дома, верхом на лошади, как итъя Татъя, не проскачет, через вещи мужские не перешагнет. Она верит в «сорни най» — золотую женщину. Лес для нее живой, населенный добрыми и злыми духами. В нем, кроме волков, есть невидимые враги — духи злые. От них зависит многое — так думает она. Но есть в лесу и добрая лесная фея—Миснэ.

Я говорю ей, что это сказка. Она говорит, что правда: Миснэ есть так же, как есть Солнце, как деревья, как животные. Ее много раз видели люди, много добра она им сделала. Утверждает она, будто сама ее видела.

...Миснэ. Кто она такая? Вы, конечно, не знаете. А знали бы, если бы скользили по склонам Камня-Урала, вросшего прямо в небо, если бы спали под снегом в длинную таежную ночь, что длиннее самой плохой дороги, если бы бродили между высоких кедров и лиственниц, таких высоких и белых, что не видно зимнего золотого солнца, только его руки играют яркими пальцами на серебристых вершинах могучих деревьев. А под ними таинственно и тихо, не хрустнет снег, не шелохнется ветка. Лишь ели да кедры, да небо, да снег, снег, снег без конца и края. День идешь—конца не видно, месяц идешь — конца не видно, год идешь — конца не видно.

Может показаться, что в лесу совсем нет жизни. Нет, это только на первый взгляд. Идешь, идешь и вдруг с ветки посыплется серебряная радуга: это белочка шелушит кедровые орешки. Она их нанесла в свое гнездо еще осенью.

А что это за снежный вихрь среди безветрия на синем морозе? Это с гулом и шумом, как реактивный самолет, взлетел старый глухарь. А вот волк тащил свой хвост по снегу, а под этим кедром резвился соболь.

Есть жизнь в тайге.

А вечером, когда разведешь костер на хрустящем, как сахар, снегу и посмотришь на деревья, кажется, что они ожили, зашевелились, ветви от тепла костра и тепла людского вдруг зашептались... Шепчут сказки и навевают сны. Хлопья снега укрывают снежной шубой человека. И он засыпает... На небе появляется большеглазая луна. Она освещает все голубым светом, чтобы человек даже ночью мог

видеть и волков, которые подкрадываются, и злых духов великанов-Менкв, и добрую фею Миснэ.

Сияет луна, стоят деревья... А ты спишь, и ночью тебе обязательно приснится Миснэ. Еще днем, когда ты шел, заметил, что недалеко от ночлега лес особенно темный и густой. Там стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры укрывают землю так, что не видно неба. Там мало снега — весь он на густых ветвях. Туда не проникает озорной шалун — Луи-вотпыг — сын северного ветра. А сам Луи-вот — дедушка северный ветер, коль дерзнет войти — сразу теряет свой холодный длинный нос. Этот дремучий лес — дом доброй лесной женщины Миснэ.

Если бы все это вы испытали, к вам обязательно пришла бы Миснэ, как приходила ко мне в детстве, когда бывал я с мамой на охоте. Пришла бы и рассказала сказку о том, как прекрасна наша Земля, и небо, и лес, и какие добрые дела могут люди делать. От добра мир становится теплее и краше, а лес еще богаче, а человек еще нежнее и сильнее, и хочется жить, жить, жить долго-долго, как деревья живут, как луна живет, как живут небо и солнце.

Какая древняя сказка! А моя тетя Сана так верит ей! Как будто это происходит на самом деле, словно это настоящая жизнь. Попробуй, докажи ей, что это сказка!

Но и она, эта смешная моя тетя, очень хочет разгадать тайну говорящих крючков. Однажды, по дороге в чум, под грустную песню полозьев, она мне спела песню про жизнь, про свою мечту.

— Вот возьмешь газету ты, — пела она в песне, — и какие-то крючки с тобой заговорят, и слова такие умные, и ты видишь мир, невидимый моему глазу. Для меня бумажка немая, для тебя — говорящая. Я словно темная, словно без глаз, а ты с четырьмя глазами. Когда учился ты, хотела бы в город к тебе съездить, но как найти тебя без глаз.

— О, как хотела быть такой же, как хотела я учиться, — пела она со слезами в голосе.

Оказывается, виноватым во всем был я... И она мне рассказала эту историю. Это было в тридцатых годах. Молодые учительницы-комсомолки, отважные русские девушки, ездили по мансийским и хантыйским деревням, стойбищам и чумам, собирая детей школьного возраста в школы-интернаты. Родители отдавали детей с неохотой, не понимая смысла учения. К тому же шаманы распространяли слух, будто из детей северян готовят слуг чертей. Тогда были уже культ-

базы. Шаманы переиначили это слово. Слово «куль» по-мансийски — черт. Культбаза — «чертовая база», — так растолковали шаманы это слово и деятельность организации, очень много сделавшей для пробуждения сознания манси и ханты и приобщения их к новой социалистической культуре. Этого, конечно, уже не рассказывала тетя Сана. Я это знал сам.

Но она рассказала, как за ней приезжали ласковые, настойчивые учительницы, как они беседовали с родителями, а потом увозили ее в интернат. Там она и по палочкам считала, и уже знала несколько букв. Но вдруг втихомолку приехали родители и тайком увезли маленькую Сану. Потом снова приезжали настойчивые учительницы, снова что-то доказывали, родители соглашались и отдавали ее. Но через неделю опять приезжали и увозили обратно. Так повторялось несколько раз.

— Надо было качать, нянчить тебя, плаксивого, — кивая на меня, с нежной грустью говорила тетя. — Если бы не ты — я, наверно, была бы тоже другой. И не разговаривала бы только с одними кедами, не жила бы тогда в чуме и с тобой умела бы спорить, и по книгам других, быть может, учила, и не смотрели бы вы на меня, как лоси, свысока...

Древняя моя тетя. Как она не похожа на своих ровесниц — Матру и Алену. И словно на целое столетие отличается от итья Таты и всех других девушек и женщин преобразившейся деревни Хомрат-павыл — центра национального колхоза-миллионера.

Почему тетя Сана отстала от других? В деревне в каждом мансийском доме сияют маленькие зимние солнышки — электрические лампочки. Их зажигает Миша Непкин — электрик колхозной электростанции. Целыми днями не умолкает гулкая песня тракторов, а летом — моторных лодок. Вечерами в большом светлом клубе после трудового дня вся деревня смотрит кино, слушает лекции, песни поет, танцует. А в просторных классах школы сидят за мудрыми книгами утром юркие дети, а вечером их старшие братья, матери и отцы. И каждый знает, что крылья дает человеку учеба. И тот, кто постиг его тайну, не только зажечь может солнце в новом мансийском доме, не только вести трактор, но и в блестящих ракетах он может к Луне слетать, и даже к далеким звездам, и их вековую тайну землянам раскрыть.

А дом моей тети — оленья нарта и бегущий снег, снег, снег, а в руках у тети Саны хорей, а не книга. Олени бегут, бегут, бегут. Вечером она ставит чум, утром убирает его и опять в дорогу. Олени пощипывают древний ягель, как тысячи лет назад. Вместе со стадом движутся древние сказки. Тетя Сана их шепчет...

Нет. Нельзя так дальше. Надо идти в оленеводство нам, комсомольцам. И взять с собою книги и радиоприемник, и кино... И пусть впереди двухтысячного стада поет песню трактор, пусть он тянет светлые передвижные домики оленеводов — долой дымные чумы. Пусть олени пощипывают древний ягель, а оленеводы поют новые песни.

Верь мне, тетя Сана. Комсомольцы пойдут в оленеводство. Мы принесем вам, оленеводам, новую жизнь, песни новой кочующей романтики...

АЙ-ТЕРАНТИ

Над тайгою смеется ласковое солнце. Все звонче и звонче поют ручьи. Они сливаются, становятся шире и уже шумною рекою бегут к Оби. А там — раздолье. Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение к морю.

Рождается человек. Рождается безымянным. Потом ему дают имя. И оно живет, растет вместе с ним. Если человек плачет, — кажется, плачет и его имя, если он смеется — и имя кажется ярче северного сияния.

Ай-Теранти... Маленький Терентий... Почему к слову Теранти прибавили слово «Ай»? Слово «маленький»? Может быть, его родители считали, что он, как и они сами, всегда будет маленьким, неприметным человеком? О, тогда они ошиблись. Очень ошиблись. Ай-Теранти — человек большой. Не беда, что он мал ростом, но сердце у него большое и крылатое. В глазах у него — лето теплое. А посмотрит — сразу человеком себя почувствуешь.

Я помню его детство. Мы росли в одной деревне. Называлась она Теги. Мать Ай-Теранти работала банщицей. Трудно ей было одной воспитывать детей. Но у нас на Севе-

ре все дети рано начинают трудовую жизнь. И Ай-Теранти рано начал ее. Сейчас он всплывает в моей памяти босоногим маленьким рыбаком в мокрых до колен дырявых штанах. У него, как и у многих других ребят, не было своей лодки и ружья. И мальчик, чтобы заработать себе на хлеб, просто помогал другим. Он греб, кидал невода, ставил сети, караулил на перевесе уток. И не раз он тонул в ледяной воде, дрожал под светом холодных звезд, как и многие другие дети Севера.

Трудное было то время. Война докатилась и до нас. Да, у нас, в Сибири, не разрывались снаряды, не падали бомбы из животов самолетов, но сирые лучи стужи пронизывали нас до костей и желтые лучи голода морщинили наши похудевшие детские лица. Мы оказались живучими—вместе со своими всемогущими матерями, вместе со своими отцами, сражавшимися где-то далеко с фашистами, мы выжили и победили.

Может быть, мы и не выросли бы, не набрались ума, если бы не русская учительница. Она заменяла нам мать. Она заменяла нам сестру. Когда не было солнца — она и его заменяла, и нам становилось теплее и светлее.

Наши матери и отцы умели читать лишь звериные следы, а она раскрыла нам глаза на другие следы — на буквы, и мы как бы заново увидели мир — мир широкий и опромный, мудрый и противоречивый. И, удивляясь, восторженно глядели в будущее. И, окрыленные мечтой, восторженно летели вперед.

...А сегодня мы снова вместе. Много лет мы не виделись с другом. Ай-Теранти за это время окончил Березовскую среднюю школу-интернат, ту же, что окончил и я. Как и другие северяне, он мог бы поехать учиться в институты Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска. Но родная земля потянула его к себе.

Нет, он не мог уехать со своей родины. Тут была его родная Обь, и Ай-Теранти разлучить с ней нельзя. Ай-Теранти—урожденный рыбак. Там, почти на середине Оби, качается бочка — конец сети. К ней ластятся чайки-хохотуны. Они зовут в сеть и одетых в зубчатую броню богатыейры—осетров, и бойких тупоголовых зыей, и нежных сырков. А там, дальше, где кончается «плавный песок» и начинается обрывистый берег с заводью, пляшут и тонут бревна и на волнах дрожат лодки, там надо скорее снимать сети. А это самое интересное на плаве. Один правит лодкой, другой тя-

нет сеть. А в ней, как только она поднимается над водой, зальется серебристой песней сырок. Ай-Теранти не сможет уехать, не налюбовавшись вдоволь этим плеском, не ощутив всей душой северянина такой красоты.

А рыбная ловля в разгаре.

Вот и бочка пляшет почти в лодке. Виден конец сети. Свою неизменную песню—тра-та-та запел мотор, и лодка медленно, но все настойчивей и настойчивей ломает сопротивление течения и спокойно, уверенно набирает скорость. Рыбаки поднимаются вверх, чтобы там снова забросить сеть, чтобы до краев наполнить лодку серебряным трепетом рыб. А пока лодка не заполнена, и жизнь кажется неполной.

Но вот, наконец, лодка до краев полна сиянием рыб. Теперь их надо сдать на базу. Вон там стоит плоскоут. Там молодая белокурая приемщица принимает рыбу, как счастье. И рыбаки сдают добычу тоже, как счастье. Может ли Ай-Теранти уехать куда-нибудь, пусть даже учиться, не испытав всего этого?!

Вы когда-нибудь чувствовали усталость? Счастливую усталость? Испытайте — это прекрасно! Как хорошо ступить на теплый песок после того, как сдана вся рыба! Счастье! Оно наполняет весь мир. Ступишь на вечерний песок, и он от июльского солнца нежный и теплый. Ступишь на песок— и усталость пройдет по жилам и словно уйдет в землю, а взамен ты получишь новую силу, рожденную доброй землей. И этот июльский вечер на плавном песке покажется самым счастливым вечером на свете...

Вон горит костер. Звезды падают на землю. Искры летят в небо. Лишь люди неизменно остаются у костра. Там их песни, сказки и сердечный разговор. Там поют сердца, там они добреют, становятся богаче. За сутки в досталь поработали руки, они наполнились усталостью и силой. От работы раскрываются сердца. Сердца ведь тоже могут петь и летать. Говорит костер, говорят люди, говорит уха, говорит вечер...

Уха! Нет, не ее сначала едят люди. Ай-Теранти подходит к костру, запах ухи подскажет ему, что наловил он много рыбы, что в лодке есть живые стерляди. Нет, не подумайте, что стерлядь—рыба грубая. Пусть она и колется, пусть она и в брюхе, а когда возьмешь ее в руки — она нежная. Ай-Теранти знает — внешность обманчива.

Вот он берет острый нож и снимает шкурку стерляди. Нет, он не знает, конечно, что из этой шкурки в древности

его предки шили себе одежду. Он не знает об этом потому, что давно уже нет той древности.

Сам Ай-Теранти ходит в модных брюках, сшитых на фабрике. О былом помнят лишь небо, вода, лес да сами рыбы. Зато Ай-Теранти знает, что перед ухой надо поесть трепещущей живой стерляди. Нет, не просто знает — так ему хочется. Уж очень вкусна она сырая! Как же уехать ему, не ощутив на своих губах рыбьей крови и нежного мяса стерляди!

А лес... Зимний лес... Тайга... Тишина. Таинственная тишина. Не вспорхнет ни одна снежинка. Стройные, священные лиственницы будто оделись в серебристую чешую рыб. Они сияют под лучами большого зимнего солнца, выгладывающего одним взглядом из-за белых шпилей бесконечного леса. Сияют и коренастые кедры, и ракетообразные ели, и сосны, в ветвях которых резвятся белки...

Белки. Огненные белочки... Какое наслаждение идти по первой пороше, по сияющему лесу и слушать мелодичную песню лайки. Вот она нашла белочку. Огненный хвост не дает ей покоя. И лайка зовет хозяина.

Лес. Нет, он не безмолвный. Ай-Теранти умеет его читать и слушать. Вот на снегу нарисовал узоры горностаей, а вот тут сидел заяц, здесь кто-то его испугнул — и сердце заячье полетело, едва прикасаясь к снегу. Оно так летело, что с кустов снежный бисер сыпался.

А вот здесь, в этих снежных лунках, спали куропатки. Они проснулись совсем-совсем недавно: помет не успел даже побелеть и замерзнуть. Они где-то тут, рядом, не в хвое, конечно, а в кустах, на берегу маленькой лесной речки. А здесь лисица за мышами бегала. Забежала мышь в снежную норку, лисичка и давай копать. Покопала-покопала, а юркая мышь перебежала под снегом в другую норку. Интересно читать зимний лес. Не может Ай-Теранти куда-нибудь уехать, не поскользвив вдоволь на широких лыжах по родному снегу, по родному лесу, не почуяв тайну, не услышав сказку, не вдохнув в себя жизни — не может он уехать!.. А мать? А колхоз? А родные люди? Тут без слов все понятно, Ай-Теранти едет в свой родной колхоз...

Родной колхоз. Кем он там будет? Конечно, рыбаком. А зимой охотником. И будет лес валить он, и на оленях ездить, возить колхозу сено и, может, даже воду, и строителем он будет — все сумеют руки, все обнимет сердце... А для чего, вы скажете, окончил десять классов? Для чего

учился? Как, для чего? А кто станет читать лекции в колхозном клубе? Он — Ай-Теранти. Ведь недаром же он учился! А кто проведет в бригаде беседу на тему дня? Он—Ай-Теранти...

Молодежь колхоза избрала Теранти своим комсомольским секретарем. Потом его назначили заведовать сельским клубом. И полон клуб веселья, звонко льются песни, с интересом слушаются лекции и прозревают люди...

Растет наш Ай-Теранти, растет и его сердце. И люди всюду родным его зовут. И если надо выразить людские думы-помыслы, они доверяют это ему. И Ай-Теранти едет, едет деле атом бурной конференции—районной, окружной. Там пылают страсти, проверяется курс жизни, там рождается новое и сбрасывается старое. Там думы народа делегатам выражаются. Колхозник Ай-Теранти — народный делегат...

Подари земле песню — она сказкой к тебе вернется. Подари реке силу — рыбой к тебе вернется. Подари земле любовь — счастьем к тебе вернется. На земле мы рождаемся. Нас, кричащих, маленьких, руки людей впервые отрывают от матерей и поднимают. Земля и руки людей нас поднимают. И мы растем, и сердца наши растут...

Совсем неправы те, кто ищет счастье где-то вдали от родины. Пусть нынче звонок космос и ярче, и ближе светила, но лишь на Земле родной мы дышим полной грудью. На Земле вырастают крылья, и можем летать мы в космос только от Земли.

Сегодня я рядом с Ай-Теранти. Нас везет один добрый конь, зовет и манит нас вперед одна дорога. Я слышу в сердце счастье. И кажется, от этого счастья солнце стало выше, тает снег и несмелыми горностаями выбегают из-под снега первые ручейки. А сколько там, под снегом, жизни и движения!.. Любят манси соболя, любят ханты стерлядь, любят северяне край таежный свой. Все там, все не тронуту. Но все знакомо, мило. И каждая тропинка, и каждый ручеек. Этот плес веселый, что сияет чашей, многое расскажет сердцу моему: здесь качалась люлька моя, берестяная; править юркой лодкой научился здесь, здесь впервые я почувствовал и нежный трепет рыбы, и человеком себя почувствовал. Как же, как же можно сюда не возвращаться!..

Наш первый ветеринарный врач ханты Михаил Новьюхов после Московской академии вернулся в край родной. Ему родное небо шлет лучи родные, ему ручьи родные все кругом шумят, ему родные песни в травах шелестят... Все.

кто кончил школу и служил солдатом, все домой вернулись. И Макаров Петр, и Ларкин Миляхов, и Гаврил Курлин, и многие другие—все домой вернулись. Кто по снегам колючим водит обмерзший трактор, кто подо льдом речным рыбу живую находит, а кто с ружьем двуглазым по тайге бродит и вместе с именем охотника имя геолога носит. Все домой вернулись: не могут жить без леса, не могут жить без рыбы, без обских просторов жить они не могут!..

И даже тот, кто южным солнцем на свет рожден был, но если его детство скользило по Оби, если вместе с нами он не спал ночами белыми, что неслись на крыльях белых-белых птиц, край наш суровый называл своей нежной родной и навеки в сердце оставался с ним...

Вот Илья Ефтени. Родился он в Молдавии. Но учился с нами, рыбачил с нами, вместе с нами по тайге ходил. Потом, окончив школу, все мы разъехались. Кто в Ленинград, кто в Свердловск, а он в свою Молдавию уехал. Там окончил техникум. Не белые ли ночи заворожили его сказкой? Не белые ли птицы ему вдруг дали крылья, что сердце его южное вдруг затосковало, и сердце его северное полетело вдруг туда, в снега суровые, туда, в просторы синие, где так мила, как девушка, ранняя весна!

И в районе Березовском, в родном селе Устреме, стал он человеком нужным и большим. Без него там скучно, жизнь кажется неполной. Он там заводила всех культурных дел: и учит ребятишек, и читает лекции, и участвует в концертах. Он и учитель, и артист...

Коль поет баян в руках у северянки, коль травинкой гнется маленький хантысьд и в языке народа появилось новое слово «физкультурник», значит, в этом тоже его заслуга, есть его труд...

Снег и виноград. Молдавия и Север. Какое тут сравнение? Сравнений нет. Их не надо. Человек здесь больше нужен, он здесь нашел себя, он нашел здесь родину. Вот какой наш Север!

Большие дела закружили Ай-Геранти. Он секретарь райкома. Секретарь. Это слово объяснять не надо. Сколько в нем тепла, внимания к человеку, сколько сил и страсти и сколько вдохновения! Каждый, каждый знает это. И свое имя несет Ай-Геранти по жизни только с честью.

Я счастлив, очень счастлив. И горд. И не потому только, что любит Ай-Геранти и лес, и снег, и рыбу, и среди своих сородичей трудится, живет, но и потому горд, что в город

большой он часто ездит, сдает в институте экзамены на жизнь. Он чувствует, что город сложнее его и глубже. И учится у города, как сделать жизнь сородичей и шире, и светлей!..

...Весна жизни! Она с каждым днем все смелей и смелей входит в тайгу. Солнце все выше и выше! Поют ручьи. Они сливаются и шумною рекою бегут к Оби. А там раздолье! Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение в будущее.

Д Р У Г

Друг уехал далеко.
Мне без друга нелегко.
День прошел,
Потом неделя,
Три недели
Пролетели
Летом — дождь,
Зимою — вьюга.
Очень скучно мне
Без друга.

Скоро год пройдет...
Больше я не усiju,
Жить без друга не могу.
Щетку с мылом уложу,
И на станцию сбегу.

По полю
Да по лесу —
К утреннему
Поезду.

Скорый поезд —
«Тук-тук!»
Где ты, где ты,
Друг-друг?»
Скорый
Медленно ползет —
Пересяду
В самолет.

Я лечу,
Я кричу,
Я пою на лету:
«Быстрый «ТУ»,
Сильный «ТУ»
Набирай высоту!»

Сели.
А-Э-РО-ВОК-ЗАЛ
(Слово очень длинное).
Пробегаю через зал,
Прыгаю в машину я.

Красный свет.
Терпенья нет!
Дайте мне
Зеленый свет!

Стоп, машина.
Вот он, дом
С голубым окошком.
Загляну в окошко,
Отдышусь немножко.

Вытру ноги
На пороге,
Громко в двери постучу.
— Открывай скорей! — кричу.
Вышел друг,
А я молчу.

Я спешил к нему пешком,
Я бежал к нему бегом,
В поезде качался,
На машине мчался,
Даже по небу летел,
Я сказать ему хотел,
Столько я сказать хотел..

Все забыл!



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

У РУЧЬЯ

У ручья,
 Над плесом голубым,
 Встал и замер лось
 Косматой глыбой.
 Шлепнулась,
 Распутивая рыбу,
 Капелька
 С приподнятой губы.
 И дрожат,
 И ловят в тишине

Каждый шорох
 Замшевые уши.
 Ветер бьет по ним,
 Как по струне...
 Шастают дрозды
 Над хвойной глушью.
 Блик зари
 На розовой сосне...

Что таит, кого ведет тайга
 В буреломах — друга или врага?

Тяжело шатаются рога
 Над горбатой
 Жилистой спиной.
 Он мне близок,
 Этот зверь лесной!
 Он высок и древен,
 Как скала.

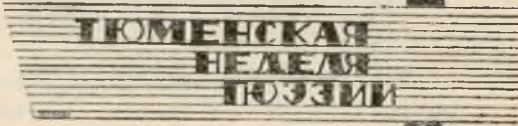
Он исполнен
Красоты
И силы...

Мне земля мансийская дала
Зренье рыси,
Острый слух лосиный.
Мне дано уменье подглядеть
Красоту.
И пить ее,
И петь.
И влюбленный
В песни
И тайгу
Красоту ищу я, сердцем светел.

Ну, подумай,
Как же я могу
Не заметить
Рук твоих и губ,
Глаз твоих зовущих не заметить?



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ



Л Ю Д И

Оборвали у ромашки лепестки,
Погадали: любит-не любит...
Оборвали у ромашки лепестки
Неизвестно кто.
Люди...

Поломали крылья у души.
Были безразличны, а не люты.
Но пойди попробуй отыщи—
Неизвестно кто.
Люди...

От обиды щеки загорят,
Темь в глаза нахлынет и в полудень:
О тебе худое говорят.
Неизвестно кто.
Люди...

В тундре я себя в расход списал:
Ночь. Пурга. На сотню верст безлюдье.
А спросил, очнувшись, кто спасал:
Неизвестно кто.
Люди!

ТОПОР ТВОЙ— СОЛОВЬИНЫЙ ЗВОН

С к а з

Нашего брата, пенсионера, дюжинами другой раз в конторском садике насчитывают. А что?.. От сиреней тень, скамеечки отполированы, радио во весь свой звонкий колокол последние известия тебе сообщает, и своя жизнь на слуху, на виду. Самое оседлое местичко!

Судачим про разное.

Высоковольтную линию к нам подводят—про нее, у шофера Аркашки Забелина права опять отобрали — Аркашку обговорим, Василко Лукашин ондатру застрелил, а тетка с худого языка в Кондрата зверька выкрестила... тут опять посмеемся. Как кочевые народы! Что видим, что слышим, про то и поем.

Ну и на этот раз!

Подрядилась приезжая чувашская артелка клуб нашему совхозу срубить. Восемь человек артелка... Заключили они с директором совхоза трудовое соглашение, и ведет их конторская техничка к постоянному месту жительства. Она ведет, а мы вслед рассуждаем: «Ведь надо же кому-то такое название придумать: «Дикая бригада».

И почему бы?!

Один, не долго думая, поясняет:

— Дики деньги платят, потому и бригады дики

Другой иное толкование дает:

— Не члены профсоюза они.

Третий свое словечко изронит:

— Гуси-лебеди... По теплу в Сибирь летят, по холоду — на домашние куковища.

И надо нам тут сказать, что присутствовал при этом разговоре не кто иной, а сам старый красный кавалерист Яков Иванович Ожгизмеев. Его в гражданскую черкес из «дикой дивизии» обухом шашки поперек затылка полыснул. Не шлем бы да зазнобино письмо в подшлемнике — записывай конного воина Якова в поминание. А так выкарабкался. Остался ему в честь этого события небольшой овражек на макушке. Палец вкладывается. И так мстил в последующих свирепых и жестоких боях Яшка Ожгизмей за свою рану, что рубил всяческую контру не иначе как «до седла». Сейчас, правда, рубить ему некого, но пригрозить — хлебом не корми.

На беседу со второгодниками пригласили — «до седла».

Секретарь Совета неправильно налог ему выписал — «до седла».

Футболисты наши в стране Чили проигрались — «до седла»!

До седла и не иначе!

Скажет так — и к славной своей ране притронется. Как бы на чрезвычайный мандат укажет.

Ну и вот, слышал он наши высказывания во след чувашской артелке, снял шляпу, чтобы рана на виду публики была, и говорит:

— А мне после гражданских боев никакой этой дичи на дух не надо. То, понимаешь, дики дивизии были, теперь новые подразделения являются... Рубить всех до седла!..

— Да где у них седла-то? — вступился Савва Андрияныч, бывший председатель охотничьего нашего общества. Не видишь — на сундучках мужики прискакали.

Ожгизмей свое:

— По мне они хоть на прутичках скачи, а — поскольку «дикиими» называются — не могу я после гражданской этого слова терпеть.

— А, может, после того, как у тебя сруб раскатали.. за невыплату аванса? — подмигивает нам охотничье общество.

— А какая между их разница? — привстал Ожгизмей. — Наши «дикие», а эти, может, того дичей.

— Вот ведь он как зарассуждал?! — обратился ко всем

сидящим Савва Андриянович. — Тут ему «дикие» не нравятся, а лось?.. Лось на подворье пришел — ты не побрезговал, что «дикий»? Свинцовым обрубышем.

У Ожгизмея от такого намека и нос, и лысину подожгло. Не ждал, не чаял — в обстрел попал. Прошлогоднюю охотничью оплошку вспомнили.

У него, видишь, домишко покосило. Подруб надо было сделать, стены перекатать. А кто сделает, кто перекатает? Сыны с фронта не вернулись, зятьев не нашил, а у самого ни сил, ни сноровки — надежда на копеечку.

Нанял он шабашников. Своих же сибирских пропойцев. В колхозы, совхозы таких не подряжают — известны птицы по округе — они, значит, на частных застройщиков переключились. Этих обирают.

— Вы уже на совесть, ребята!—просит их Ожгизмей.

— Конечно, на совесть, — отвечают те, — ставь магарыч. Выдавай аванс...

Ну, выставил. Выдал.

Они три ряда срубили и опять:

— Выдавай, дяденька, аванс! А к авансу барана режь. Вон того — круторогого, козловатого. Мы его без горчицы...

И пошли вымогать у старика. Нет аванса — не рубят, не пилят. К кому-нибудь полы перестилать наладятся или потолки крыть. С домишком-то по-доброму на полмесяца дел было, а они до холодов растянули. Да еще и цену накинули!

Что делать старику?

Савва Андрияныч, председатель охотников, в ту пору в дружках у него ходил. К нему-то и обратился Ожгизмей.

— Так и так... Строюсь. Не добудешь ли ты мне парочку лицензий на лосей. Обернуться с деньгой надо. Сам знаешь — в малушке живу.

Савва Андриянович говорит:

— С таким делом и перед председателем райисполкома можно походатайствовать. Пойдем, старый кавалерист.

Ну, пару не пару, а одну лицензию схлопотали.

И вот, бывает же притча-причина?!

Трех дней не прошло — выглядывает Ожгизмей на петушиной зорьке в окошечко и наяву видит: лось в его огороде стоит. Глаза протер — лось! К огуречнику подвигается. Старик где порох, где дробь — позабыл. Впрочем, картечину надо. А у него таковых не заготовлено. На куски свинцовая палочка поделена, а закатать не успел. Сгроб старухины

сковородки, бросил меж них два обрубышка и кыр-тыр, кыр-тыр, — закатывает. «Засыпай пороху!» — старухе шепчет.

Та, охотница косточка, с ладошки в патрон отмерила, лотерейным билетом второях запыжила — готово.

— Скоро ты? — у Ожгизмея спрашивает.

— Чичас! Свинец, понимаешь, тугой.

— А ты, Яша, кавадратом бей. Больше сухожилков повешь.

Ну, под такой сполох любой совет годен.

Послушался.

Кое-как затиснул обрубыш свинца в патрон. «А, где нас черт не страховал!» Отворяет потихоньку двери, выкрался — боцк! Старуха ножик в руки, к лосю заторопилась. Кровь с теплого спустить. Белее мясо тогда... Смотрит,—лося нет, старик наповал. Берданка у него в руках, а ствола у берданки нет.

— Живой? — с ножиком к нему подбежала.

— Сгинь с глаз! Встану — до седла!

Никому, говорю, пощады нет. Ни старухе, ни дикой бригаде.

А Савва Андрияныч между тем накаляет:

— Их дикими-то неглупый сибиряк назвал. Патриот своей земли! Строить нам надо? Надо. Деньги государство дает, материалы... А откуда рабочую силу взять?.. Своя семья раз сосчитана и по восьми полочкам разложена. На трактора, на комбайны садить некого — в односменку работаем. Бывает пора: хоть пополам человека дели. Один глаз, чтобы гусей пас, а другой — еще три дела наблюдал. Так ведь у нас? — Ожгизмея спрашивает.

— Это-то так, — согласился Ожгизмей.

— Ну, вот и рассуди теперь... Являются перед тобой восемь добрых молодцев — топоры-солнышки, беседа — самому богу в уши: «Детские ясли вам? — пожалуйста. Зерносклад? — с нашим удовольствием. Клуб? — черкните трудовое соглашение».

Да ведь такое явление, хоть бы и нашему директору, это знаешь что... Это... ну все одно, как бы к тебе в мясоед лось на поворье зашел. Непоенный, некормленный, дикий, пришлый — бог послал! Тут уж, директорское дело, катать скорей бумажную карту и...

— Загинули теперь без чувашей, — оборвал Савву Андрияныча Ожгизмей. — Головы пеплом посыплем! А почему

бы, понимаешь, свою молодежь не обучать?! Любовь ей к строевому дереву не приживлять? Нет, видишь! Залетных топоров ждем. Ключ серебряный, борода золотая... Что ни замах, то и рубь-рубчик. Где дунем, где плюнем, где замшим, где заклиним, а ты контора-дура плати. От моего-то лося дикого вся убыль, что карточка истрачена да три зуба вышиблено... А эти портки с совхоза снимут.

Славную свою рану шляпой накрыл и поднялся. Злой поднялся, досадный. Калиткой грохнул, поросенка пинком достал, в чайную направился.

Охотничко общество изнемогает, смеется:

— Это он не из-за чувашей озлился... не из-за них. Из-за лося... Зачем лось был помянут.

Ну, в последующих разговорах разное про эту артелку судили. Кто Саввы Андрияныча руку держит, кто Ожгизмею подпеваает. Домашние у Ожгизмея про этот спор-разговор не знали, не ведали. Наутро, значит, еще старика подкеросинили.

Жила у него внучка. Родная да желанная. Клавдинька. Как посадил он ее к себе на колени в день известия о сыновней гибели, как приголубил глупую головку на горькой своей груди, так и по сей час тепло там от горячий сиротской щечки. Сноха с годами другую судьбу нашла, а Клавдинька с дедом осталась. Не отпустил: «Звоночек мне под старость».

Вырастил. Посильно выучил. Невеста-девушка. Да и какая невеста! Бывает же красота, что ни с пудрой, ни с помадой к ней не подходит. Затмит. Обожжет! Молодой Морозко зубки-первоснежки подарил, на щеках яблочко ночевало — румянец забыло, ямочки отпечатало. Глаза, что два василька под грозовой тучей, темной синью сгорают. Души не чаял в ней Ожгизмей. До этой весны Клавдинька дояркой работала, а как ввели механическую дойку — в отпуск пошла.

И вот, в тот самый момент, когда дед калиткой грохнул и поросенка ногой пнул, состоялся у нее с управляющим фермой разговор. Назначает ее управляющий поварихой к приезжим плотникам, а она не соглашается.

— Не хватало, чтобы комсомолки суп частному сектору варили!.. Глубоко извиняюсь...

— Сваришь! — управляющий говорит. — Еще как и сваришь. Клуб-то ведь не для частного сектора затевают. Для вас же! Для комсомолок. Для танцующей молодежи. Вот и подумай.

— Неужели постарше никого не нашлось?

— Постарше у меня все нетанцующие.

Отвечает так, у самого между этих слов дальняя думка прихоронена: «Покашеварь пока плотникам, а там и на сенокосе покашеваришь. Детную да с хозяйством на поле-вом стане жить не заставишь, а твое самое таковское дело».

Ну и настоял.

У стариков по утрам дрема легкая. Слышит Ожгизмей: зашушукалась женская половина.

— Ведерный чугуи возьми. Укропчику молодого сорви, батуну.

«Чего они затевают?»—приоткрыл глаза Ожгизмей.

И тут ему прояснить стало.

— Ну вот, сварю и им похлебку, — Клавдинкин шепоток слышится, — сварю, а они, может, какие-нибудь свои народные чувашские блюда обожают?..

Старая с проста ума и выговори:

— А мы вот у деда спросим. Он в кавалерии служил — в каких только местах ни побывал. Должен знать.

Этого только после вчерашнего ему и не доставало. Мению дикой бригаде составлять! За самую ведь злострупку куснули. Выметнулся он из-под одеяла, лысиа где бледная, где румяна, бороду оторопь сотрясает, и заика напала:

— Пи... пи... пироги с изюмом они обожают!—рывнул.— Жа-жа... жа...

Ожгизменха по шажочку, по скоренькому к порогу. Внучка следом. Ожгизмей кальсонники поддерживает—за ними.

— Жа... Жарптичьи пупки с подливой они обожают!

Бабенки на крыльцо да за калитку. Ожгизмею в исподнем неудобно — кричит в притвор:

— Укропу им на дух не надо! И чугуи не сметь! Я вот в него сейчас дегтю...

Еще, значит, ему досады прибыло. Размышляет:

— Ну, Савва Андрияныч — этому и чин, и бог, и пословица велели ближнего своего подыграть. А тут внучка! Прислуживать согласилась! А не бесконфузные ли твои глаза! Укропчику, видишь ли, молоденького... Ну погодите!

Годить, впрочем, не пришлось. Старухе тут же по возвращению поднес под ноздри кулак на понюшку, а со внучкой ни слова. И день ни слова, и два, и неделю. Обидела.

А про мужиков, между тем, про чувашскую эту артелку, хорошие разговоры пошли. Да и как не пойти... Солнышко

еще росы с козырька не стряхнуло, ветерки туманов не продышали, жаворонки ни горлышка, ни крылышка не опробовали, а топоры уж звенят, веселят утречко.

На деревне дымки из труб несмелые, петух петуху гребня еще не рвал, перепела еще пшениц не опели, а топоры уж горячие. Брось на минутку — капелькой отпотеют.

«Тюк-чак-нато-щак! Бряк-грюк — с обеих рук! Ладком — холод-ком».

Пока радио включают — у них щелы гора! Плечи у молодых дымятся, глаза веселые, мускул игровитый и аппетит, что у молодых волков.

— Готово, Клавдинька?! — с лесов кричат.

— Сейчас! За перцем только сбегая...

— Э, девонька!.. Лучшая приправа к еде — добрый голод.

Позавтракали, перекурили минутку и опять за топоры. После обеда часок соснули и до перепелов. Те—«спать пора, спать пора», — а старшой артелки с ним в спор.

— Не пора еще, не пора... Не командуйте тут. Вот по зауголку наберем, поужинаем, — тогда пора.

Директор на легковушке проедет, ряды сосчитает — на венец против утрешнего клуб подрос. Прораб для интересу по своим расценкам-нормам прикинет и себе не верит. Чуть не по три нормы сработано.

А кто и когда у нас добрый да удалой труд охаивал?

«Ай да, братцы-чуваши! Такую бы бригаду да на постоянное местожительство!..»

Один Ожгизмей скрипит:

— Из-за рублевки с пуга сорвать готовы.

Молодежи еще и то дорого, что гармонист в артелке оказался. Вася Никаноров. Где ни появится со своей гармошкой, там и токовище. И лихую тебе сыграет, и задушевную. Только задушевные он почему-то больше сам для себя играл. Уйдет на другой берег реки, и допоздна зовет кого-то там чувашская гармошка. А колдовское же и беспокойное это дело для молодых девчонок, если гармонист да гармошка, да темна ночка втроем остаются. Гармонист да гармошка, да темна ночка, и никто ему, ласковому, сомлевшей головки на плечо не уронил. Печаль-радость, музыка с ним, и никто ему ладов не спугнет.

«Тебя зовет! Тебя зовет!» Ой, жарко по девятнадцатой весне под одеялом! Зорька с зорькой встречаются в эту пору на горячих девичьих щеках. А подушка нашептывает...

«Побеги. Подкрадись. Закрой ему робкими и похолоделыми пальцами глаза: «Отгадай, Вася?»»

Мил тебе черный чубчик, неокрепший еще от последней армейской стрижки. Ненаглядными зовешь ты добрые, с постоянной улыбочкой искоркой глаза. Даже редкие оспинки на лице — те же звездочки. Разыщи-ка в миллом немилое!

Разве что — русалка. Ее ты замечаешь всякий раз, когда украдкой поднимаешь на леса взгляд. Частые зайчики от Васиного топора, зайчики от потных загорелых плеч, от груди. Весь он в солнечных зайчиках и... зеленая нелюдь против самого сердца вытравленная. То не ты ли, нелюдь, наколдowała, что подгорела каша у Клавдиньки?

Подгорела каша — ох! — то не вся беда. Перемещает девушку управляющий на сенокос. Доводит резон: — Тут у меня любая домохозяйка спроворит.

Клавдинька по возможности отшучивается.

— Поскольку клуб строится для молодежи, для комсомола, то и должна строителей кормить комсомолка, а не какая-то там нетанцующая домохозяйка.

Управляющий видит: его же пика, ему же в глаза.

— Ништо! — указывает на леса. — Тут такие музыканты — любая запляшет.

— Если так, то пожалуйста. — Заприседала перед ним Клавдинька. — Пожалуйста. Меня, вон, дяденьки в артель возьмут. Лес обшкуривать буду.

Мужики смеются:

— Возьмем! Таким удалым плотником да поступиться? Ни за какое золото!

Привыкли к ней. Веселая, обходительная, аккуратная — зачем им другая.

Только управляющий — парень битый! Покосился на Ваську-гармониста, пальцами вроде как бы по ладам провел и говорит:

— Знаем мы твоего «дяденьку». Курлы-мурлы, полька-бабочка...

У Клавдиньки румянцы—пых! Ушки—пых!

А слова-то и не сказать девушке. И не отшутиться девушке. Стоит, пылает...

Оно так. Оно так. Первую песенку всегда зардевшись поют.

Эх, девушка! Не знаешь ты еще, девушка, что на деревне твои секреты до первого утреннего жаворонка живут. Спал. Под густой полынькой ночевал. А обогрело солнышком кры-

ля, взлетит — про все расскажет счастливый и радостный. И где платочек ты свой обронила, и почему каша твоя подгорела.

Старшой ест да смеется:

— С дымком вкуснее — глаза яснее.

Здоровый чувашин зародился! Схватит бревно — «Ну, медведюшко!» Волосы черные, а усы с позолотой. Рыжинкой тронуты.

День по дню, день по дню, вот уже и потолки стелют на наш клуб.

Бегом бежит туда Клавдинька.

— Дяденьки! Вася! Слазьте! Ваш Андриян взлетел!

Старшой оглядел артелку: вроде все дома.

— Какой Андриян?

— Ва-а-аш! Чува-а-аш! Май-о-р! Из деревни Шоршелы.

Стоит у совхозной конторы столб. Окружила его чувашская артелка. Поет колокол:

...Звездной дорогой к планетам

Мчится родной человек.

На чужой, говорят, сторонушке рад своей воронушке. Воронушке! А тут сокол настиг. И какой сокол!

Ай тур-тур-тур. Андрейко! Которая звезда слушает твои песни? И по-чувашски ли ты поешь, сын наш?

Идет прораб, улыбается. Стоит старшой, вытирает глаза.

— Иван Николаевич! Дай нам сегодня выходной?

Кто только не перебивал в этот день в плотницком общежитии.

— За Андрияна!

— За вас, мужики!

И обнимала великая Сибирь маленькую Чувашию. И целовала ее в черные с позолотой усы. И мешались на скулах гордые слезы: «Ваш сын — наш сын!»

Наутро старшой посылает Васю-гармониста:

— Узнай, сел—нет.

Прибежал Вася:

— Летае еще!

— Разыщи тогда прораба и скажи, что у нас опять выходной.

На другое утро:

— Сел, нет?

— Летае еще. Вдвоем летают.

— Однако... Пошли, ребята. Они, может, месяц будут летать. Эдак мы в прах пропьемся.

В этот день на самую откровенность разговорился со старшим артелки наш прораб.

— А какая, парень, нужда припекла вас в Сибирь ехать? Неужто дома дела не нашлось?

— Ждем ответа, как соловей лета, — подключился Ожгизмей.

— Если бы только из Чувашии ехали, — начал старшой. — Поглядел бы кто из вас, что весной на поездах творится. Переселение народов с топорами. И белорусы, и украинцы, и грузины, и армяне, и латыши, и мы. «Куда?» «В Сибирь». Дома руки не к чему приложить. Народу много. Вот и отпускает колхоз в отходники. От семей уходим.

Ожгизмeya ровно бесы подкалывают.

— Зато вернетесь — по кошелю денег у каждого да по незастрахованной грыже на придачу.

Старшой спокойненько отвечает:

— Денег больше, чем сметой рассчитано, мы не получим, а грыжу... Не солому, дядя, через колено ломаем — с лесом работаем... Случается и даванет которого.

— Тогда что же? Некомплектная дикая бригада, — подшкуривает Ожгизмей.

Старшой и тут без обиды:

— Про «дикие» я тебе, дядя, так объясню. Бывает: семь человек в артелке — люди, а восьмой — паршивая овца. Пьет. Населению пакости учиняет. На работе глаз туманный, рука дрожит. Раз такое простят товарищи, два, а в третий перемигнутся, перешепнутся, и весь ему тут кодекс законов. Отобирают у молодца топор, кладут его на два бревна и — хрясь обухом по топорщику. На излом. Получи две половинки, и не до скорого свидания. Ну, куцым своим выстрогает он себе новое топорщице. А оно белое! Вроде волчьего билета. Ни к грузинам с ним, ни к армянам, ни к латышам. Ходит он, ходит, повстречается с таким же уха-рем — вдвоем промышлять начнут. Глядишь, третий пристрянет, четвертый... Таким-то вот способом и организуется «дикая бригада». Мы-то, правда, их «белыми топорщиками» зовем. А уж как не исхитряются! И олифой топорщица пропитывают, и воском натирают, а нет. Не проведешь. Вот у Васьки — дедово еще дюжит. А топор. В него глядишься, им же бреешься. И звон! — соловьиный!

— Противоречия какие-то, — буркнул Савва Андрияныч. — Попы отходничают, плотники отходничают.

— А они, эти противоречия, от библейских веков еще

ведутся, — с радостным с петушком в голосе подхватил Ожгизмей.— Вот послушай-ка. Был по писанию некий плотник под именем Иосиф. Тоже отходничал. Ворочается один раз домой и, первым делом, скотину решил попроведать. Заглянул в ясли, а там — младенец: «Драстуй, ты-ленька! С благополучным вас возвращением. Много ли заробил?» У Иосифа инструмент из рук выпал. Пока, значит, он во всяких палестинах трудовые соглашения заключал, к супруге святой дух летать понавадился. Ну и сотворили...

И ведь испортит разговор ожгизмейская душа! Как есть — испортит. Приятно разве мужикам такие намеки слушать!

Один раз после такого, примерно, собеседования, берет его Савва Андриянович под ручку и предлагает:

— Прогуляемся, старый кавалерист?

— Не возражаю! — согласился Ожгизмей.

Отошли несколько.

— Я тебе напрямки скажу! Зря ты мужиков растравляешь.

— А что мне с ними—детей крестить?

— Вот именно. Вот именно! Очень даже возможно. Клавка твоя и Васька-гармонист... Вчера ходили тетеревиные выводки смотреть — припозднились... Своими глазами видел. Гуляют на парочку.

— Не может быть. Где?

— За рекой, где ветла да березка растут. Вот так-то. До свиданьице.

Стрекоза в крылышки бьет, на дворе лето красное, а старику ноги приморозило.

«Где ветла да березка растут...» «Где ветла да березка растут...»

«Поначалу укропчика молоденького, а теперь. Где ветла да березка растут...»

Не сам Ожгизмей бежит — его ноги несут. Вон и ветла. Сто лет ей или побольше. Ствол вкривь, вкось, взаверт рос — втроем не обхватишь. Пощелялась, в дупла пошла. Скрипит, а зеленая.

— Были? — не своим голосом простонал Ожгизмей.

Молчит дерево.

— Говори, старая сводня! Жилы порублю!!

— Дурень!.. — проскрипела ветла. — Позабыл, кого старрой солдатской шинелкой укрывал, с кем жаркое дыхание свое терял, под чьей тенью хоронился. Мно-о-о-гое я знаю,

да ничего тебе не скажу. Иди вон к березке. Она молоденькая.

— Были? Топор-то в мякоть, — наскочил Ожгизмей на березку.

— Дедушка! Я молоденькая! Я беленькая! Не пытай меня.

— Знаем вас, беленьких. Сказывай, пока топор не принес.

— Были, дедушка. Вон ее платочек на моих корнях.

— А почему же ты гром-тучу не позвала. Почему ураган-бурю не накликала?

— Мне хорошо было, дедушка.

— То ись, как это хорошо?

— А ты не испытал этого? Вот этого... Коснется твоей тугой назревшей почки смелый солнышков лучик, а навстречу ему первой зеленью листик брызнет, взорвется. И откроются тебе небо, птицы, ветер, мир. До корней задрожешь ты от сладкой неминуемой боли. Виновата. Руби меня, дедушка.

...Не сам Ожгизмей бежит — его ноги несут.

Улица, поворот, калитка, крыльцо.

— Клавдея, были с Васькой-чувашином за рекой, где ветла да березка растут?

Потупилась Клавдинька:

— Были, дедушка.

— А к чему бы?

— Люблю его.

— Лю-ю-б-лю-ю! — осел Ожгизмей. — Кого там любить? У него, это само... и оспа не привита — корявый... и... и... фуражки доброй нет и... веры неизвестно какой.

— А ты, дедушка, разве верующий?

— Это примерно к слову. Неужто тебе среди сибирских ребят выбору нет?

— Его люблю.

— Я полюблю! Я полюблю!! — подпрыгнул Ожгизмей. — Я вот достану шашку и до седла!..

Подняла глаза Клавдинька. Как два василька, они под грозовой тучей — темной синью сторают.

— Люблю его, дедушка!

Опять осадило Ожгизмея. Бороду оторопь сотрясает, дыханья мало, руки дрожат.

Эх, стар, стар! Забыл, видно, ты, что есть на земле сила, с которой ни поп, ни загс, ни красный кавалерист совла-

дать не могут. Ну, руби ее! Ну, секи! Чего сидишь, рот, как рыба, открыл?

К вечеру отдышался. Спрашивает вялым голосом:

— Он... здесь остается или уедет?

— Не знаю.

— А ты... здесь или... с ним?

— Я здесь.

Заговорил, заторопился:

— Правильно, Клавдишка! Чего ты там будешь делать?

Он на заработках, а ты по полгода в окошки выглядывать.. Да по-доброму и ему вся статья здесь оставаться. Всем им остаться! Такие мастера, такие трудяги по свету мыкаются. Ведь у нас про них область гремела бы! Ты его агитируй, агитируй... Что я их подшкуриваю, это не всуерьез. На местных злось — сруб раскатали... Агитируй его, одним словом.

— А и в самом деле, оставались бы у нас, ребята, — про то же поет на бревнышках прораб. — Лесу дадим, транспорт дадим, ссуду дадим — стройтесь, живите.

В затылках скребет артелка.

— Родительские могилки там.

— Мертвый, значит, живого поймал?

— Не один мертвый. Родня. Местность своя, народ.

Ну против этого, что скажешь? Своя земля, она и в горсти мила.

До другого удобного случая оставляет прораб разговор.

Ожгизмей, между тем, с другого конца действует. Идет из лесов и охапку черной смородины несет. Ветками наломал. И не домой заворачивает, а на стройку.

— Отведайте, мужики, нашего лесного лакомства. Дармовое. Гектарами растет.

— Ай, спасибо, дядя. Подсластил. Давненько не едали.

— А в ваших местах она что... тоже растет?

— Растет. Куда она подевалась. И малина, и клубника, и орех растут.

Вздохнул Ожгизмей.

На другой день взял корзинку, по грузди пошел. Ворохом принес. Молоденькие, ядрененькие — с поросячий пятачок груздочки. Белая бахрама с исподу, желтый сок на срезе, истомляются духом.

Говорит старухе:

— Выдержи в воде и засоли, в осинової кадочке засоли. Пером чесночным переклади, смородинным листом и это... укрупу не забудь.

Собственной персоной несколько раз пробу снимал с кадочки. Когда усолились на его вкус, говорит Клавдиньке:

— Ты это... ужну сегодня мужикам не вари. Я им сибирское блюда приподнесу.

Сам картошку мыл, сам пек, сам к столу звал.

— Просю мужики. Все крупы да вермишели. Я вам сегодня разносольчику.

Налегла артелка.

Эх, и вкусна ты, печеная картошка с холодным скользким груздочком! А если еще к этому хлеб ржаной, да если соль крупная, да если язвы желудка у тебя нет — у-ух!

От души ребята трудятся.

Вася-гармонист подгорелую корочку стал снимать.

— Не смей! Не смей! — остановил его Ожгизмей. — Ее с жаринкой едят, с хрусточкой. Весь смак в хрусточке.

Первый голод молчком успокоили, второй — за разговором.

— Наши бабы тоже теперь натаскали, насолили.

— Груздя? — насторожился Ожгизмей.

— Ага. Другой год урожит — возами вози.

— Сейчас уж и вишня дошла. И раннее яблоко.

— Антоновку мы в квашеной капусте выдерживаем. Ох и резка!

«Пестерь старый! — выругался на себя Ожгизмей. — Со смородиной лезу, с прудями... Нашел чем прилакомить. Ты бы еще шиповнику принес».

И такой вдруг убогой сиротинкой встала перед ним родная округа, что все хлебосольство старик в один миг растерял. Как сыч, нахохлился, думает. И потихоньку, помаленьку гордую злость зажигает та дума в душе.

«А врите, ребята, врите! Не вишней да яблочком покояет человека земля».

И заговорил он про своего деда.

— Деревню Ожгизмеевкой в честь его назвали. Первый поселенец здесь. Мы с братком Павелком двойнятками родились. Усадит нас на оба плеча и понес в поле. На каком-нибудь пригорочке остановится: «Го-го-го-го-го-о!» — Заголосит. А тайга в ответ: «Го-го-го-гоо!!». Нам с братком боязно станет, дедову шею оплетем ручонками и шепотком спрашиваем:

— Дед. Это кто там кричит?

— Сибирь кричит.

— А чего она, дедо, кричит? Нас пугает?

— Ххе! Шут-ка ей в ноздрю, чтобы мы ее забоялись! Чего придумали... Я один жил — не пугался, а теперь тятка ваш да вас двое, — шут-ка ей в нос, чтобы мы ее забоялись. — И олять по лешачинному: «Го-го-го-го-о-оо!!!»

А тайга: «Го-го-го-о!» Помаленьку и нас с братком Павелком приспособил.

Вот на Орловщине и яблоки резкие, и груши росли, а он любил эхо слушать. И ведь как откликнулось! Не кричит — на весь свет гудит-светит Сибирь. Поет. Дивно горная да светозерная! Соболиная краса, жемчужная да алмазная, пригоршня державы.

Гордый ушел с бревнышек Ожгизмей.

День по дню, день по дню — последний ужин сварила строителям Клавдинька.

За рекой, где ветла да березка растут, долго в этот вечер тосковала и звала кого-то чувашская гармошка. Не дозвалась и смолкла. А наутро не обнаружил Вася своего топора.

Старшой изохался.

— Такой топор! В него глядишься, им же бреешься! Звон соловьиный...

Вот уже в кузове разместилась артелка. Выпишет шофер путевку — и «прощайте, люди добрые».

— Дедушка, — шепчет Клавдинька, — отдай эту записку Васе. Я сама не могу... не пойду.

— Давай.

Худо читает Ожгизмей, однако, разобрал: — «Топор у меня».

«Упрягала, стало быть. Ну, челдонка, хе-хе...»

— Держи, Василий, корыспонденцию.

Подходят к грузовику прораб с Саввой Андриянычем.

— Таких ребят, — указывает на артелку Савва Андрияныч, — с оркестром встречать, с митингом провожать.

— Кукушки! — усмехается Ожгизмей. — Снесли яичко, а ни кукушонка, ни гнезда.

Заскучала чувашская артелка.

Смотрит на белые бревнышки клуба старшой:

«Здесь поселятся смех, перепляс, поцелуи тайком в уголках, будет жизнь, будет радости час, а ты — ровно гроб оставляешь».

«Каждое бревнышко своей рукой обласкано», — потирает подросший чубчик Вася-гармонист. — Постой! Это

Клавдинька ли топор мой оставила? А не сама ли это умница-жизнь так распорядилась?

— Соловьиный звон...—шепчет побелевшими губами Клавдинька. — Мало, Вася, в Сибири соловьев.

У Ожгизмея внучонок растет. Наклонился над его кроваткой старик и воркует:

— Ну, имай!.. Имай меня за бороду, Чувашска республика. Ну, излови! А то телеграмму не покажу...



МИХАИЛ ДЕМИН

СИБИРСКОЕ УТРО

Чуть свет —
в котле
клокочет пар
И содрогается огонь.
На рукоятку
Кочегар
Кладет шершавую ладонь.
И сиплый гул встает над сонной
Тайгой,
над глушью потрясенной;
Так, на краю материка,
державу будит
бас гудка.
Гудок
Скликается
С гудком.
Густеет гул,
как снежный ком.
Вдаль плесов,
Стынущих в тумане,
идут над крышами домов —
идут гудки,
как марсиане,
На лапах

заводских
дымов.



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

Идут,
 возникнув на востоке,
 От новостройки
 К новостройке,
 По трассам новым,
 По предместьям,
 По всей планете
 С солнцем вместе!
 ...А в захолустной кочегарке,
 Нелегкий завершив денек,
 Вздохнет чумазый паренек,
 Лицо утрет.
 Свернет сигарку.
 Им вся земля пробуждена!
 Идет он к дому
 неторопоко.
 И схожа
 Круглая луна
 В осенней мгле
 С горящей топкой.

МИХ. НАЙДИЧ

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

За окнами
 был осени прилив;
Дышала печь, натопленная жарко.
От жалости слезинку уронив,
Меня, израненного,
Мыла санитарка.
Была, как мама,
Сверстница моя,
Смотрела взглядом пристальным и добрым.
И по спине, по шее и по ребрам
Скользила губкой,
Жалость затая.
А хлопья впитывались в пол,
Ведро сияло голубой эмалью;
Просачивалось красное
Сквозь марлю.
И был я в полусне...
Куда-то шел...
Куда-то полз...
Кричало воронье,
Хрустели сучья и осколки под ногами.
А я все полз, быть может, за цветами,
За крохотным букетом
Для нее.



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

ЕСЛИ ВЕРЕН ОБЫЧАЯМ

Если я окажусь на юге,
Если я окажусь вдали
От тревожащей душу вьюги,
От мансийской родной земли,
Каждый день с затаенной грустью
Будет сердце стремиться туда,
Где взметнулись кедровые рощи,
Где Конду сторожат невода.
С этим чувством, богатым и сильным,
Ты в душе, мой родительский дом.
На просторах великой России
Я не буду нигде чужаком.
Я сегодня в гостях у Армении,
Я сегодня средь близких друзей.
И пылает строка вдохновенно,
По-мансийски сердечностью всей.
Я охвачен сияньем полярным
В этом крае садов и цветов.
Постоянно учусь я у жизни
Деловой громовитости слов.
Я читаю стихи о березе,
И водитель, веселый Ашот,
Глядя вдаль на литые утесы,
Говорит мне: шатлав — хорошо...
Если верен обычаям края,
Той земле, что тебя родила,
Льется песня прямая, живая,
Где б на свете она ни была.



ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

КАМАРИНСКАЯ

Звуки плачут! Звуки пляшут высоко!
Фейерверком вырываясь из веков.

Пляшут в зареве крестьянских «петухов».
Пляшут в пламени Октябрьском — моряком.

Не на стругах мы взлетаем, не со струн.
В небо, в небыль нас возносит бунт.

Но в победах мы не бросили костру
Балалайку, вещи музыки сестру.

Ох, замается ль не замается
Прибаутчик и говорун?!
Бойко спрыгивает камаринский
С балалаечных струн.
Пробегаются — потешаются,
Лапоточками мельтеша.
И — заламывается шапка,
И — распахивается душа.

Это разом — восторг и разум
Свищут саблю над плечом.
Подбоченься, хохочет Разин,
Усмехается Пугачев.

Многострунность и многолюдность,
Выкамаривай, возноси!
Пусть срывается с сердца удаль
И разносится по Руси!

Пламя тундры

Его ждали, ждали давно и по-разному: кто с безоговорочной верой, кто с оттенками сомнения, кто с некоторой опаской — были и для этого основания. И все-таки, как часто бывает, он заявил о себе в самый неожиданный момент.

...Третьи сутки по Тазовской тундре металась бездомная пурга. Она гнала снежные заряды по равнине, осаживая их в обледевших прибрежных тальниках и овражистых ложбинках. Она билась о стенки домов, чумов, балков — передвижных геологических вагончиков, — чуть не до труб заваливая их сугробами. Она заволокла небо, и казалось, что даже звезды спрятались от пронзительного ветра.

Не спрятались только люди. На буровой номер два Тазовской нефтеразведочной экспедиции круглые сутки шли испытания верхних горизонтов: «низы» скважины обнаружили только воду. Но ведь газ есть — все время, пока трудно бурилась скважина, он то опасно «закипал» пузырьками у самого устья, то аварийно разжижал глинистый раствор, то еще как-то подстерегал буровиков «из-за угла». Где же он, этот увертливый и коварный газ?..

Главный геолог экспедиции Геннадий Быстров сутками пропал на буровой. Вот уже прострелен «подозрительный» горизонт. Теперь надо «расшевелить» пласт, «возбудить» его активность. Ночью это делать опасно, а света сейчас в Заполярье бывает всего несколько часов в сутки. Решение принято: едва займется поздний зимний рассвет, продолжить работы. А пока — наблюдать, наблюдать за скважиной, не спуская глаз.

Теперь можно и отдохнуть. В пятом часу ночи Быстров ушел в свой балок. И только успел положить голову на подушку, рывком открылась дверь.

— Газ! — крикнул чей-то взбудораженный голос.

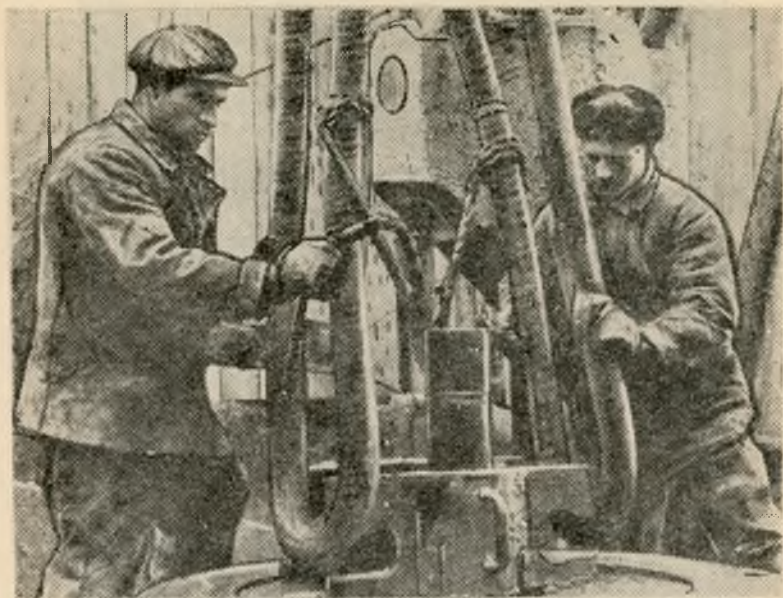


Вот она, снежная лента реки Таз. И на берегу — знаменитая буровая № 2.

Как Быстров пробежал эти несколько десятков метров до буровой — он так и не может вспомнить. Только остались в памяти заложивший уши страшный гул, ощутимо видный столб бесцветного газа и испуганно-радостные лица ребят из дежурной вахты.

— Задвижки! — крикнул он, но гул фонтана легко перекрыл человеческий голос. Тогда Быстров показал руками, что нужно сделать, и сам первый приблизился к бушующему устью скважины.

Растерянность прошла. Через несколько минут вахтенный ди-



Не проста работа буровиков. Помощники бурильщика В. Ростов (слева) и Г. Шапор ведут подъем стальной трубы.

зелист Николай Барсук вместе с бурильщиком Тырным уже вертели задвижки фонтанной арматуры. Чуть позже пришли в себя помощники бурильщика Кульпин и Адериха, ведь это была первая скважина молодых нефтяников, несколько месяцев назад окончивших техническое училище.

Словом, фонтан встретили во всеоружии: перекрыли его, сделали отводы. А по радию передали на базу: есть первый заполярный газ!

В тот день наша вахта — вахта бурильщика Павла Агаева — была на выходном. Едва по радию сообщили об открытии, вездеход выехал на буровую. Мощная машина с трудом перебиралась через сугробы, подминала под себя острые снежные заструги, опасливо обходила топкие наледи. Радостное событие как-то изменило всех: после первых минут возбуждения мы сидели непривычно молча, уйдя в свои сокровенные мысли.

— Вот и дождался, — вздохнул, как бы отвечая самому себе, начальник Тазовской экспедиции Василий Подшибякин. — Дождались, — повторил он, словно еще не успев привыкнуть к ре-



У рычага лебедки — бурильщик Павел Агаев. Он был в первой пятерке, прибывшей на Тазовскую буровую.

альности происходящего. Высокий, чуть сутуловатый, с энергичным, резким лицом, он казался особенно большим в тесной кабине вездехода. Опытный разведчик, душа всего дела, он открывает уже восьмое в своей жизни газовое месторождение.

Биография Подшибякина примечательна. Его трудовая жизнь началась не в геологической экспедиции, а за реверсом паровоза. Воспитанник ФЗО, кочегар, помощник, а потом машинист паровоза, он заочно окончил среднюю школу, поступил в Московский нефтяной институт имени Губкина. Став горным инженером, попросился в Сибирь, где только начинались разведки на нефть и газ. Он бурил скважины в Нарымском крае, осваивал знаменитое Березово. И когда в трудных условиях Заполярья создавалась новая экспедиция, выбор пал на Подшибякина. Так машинист с подмосковной станции Узловой стал открывателем богатых подземных кладов.

...Вездеход на мгновение остановился. И сквозь тихие обороты мотора к слуху пробился ровный мощный гул. Это «разговаривал» новый фонтан. До буровой оставалось не меньше пяти ки-



После шестидневной трудной вахты можно и отдохнуть. Перед выездом на базу экспедиции (слева направо): дизелист И. Супрунюк, помощники бурильщика П. Дудка, П. Власенко, бурильщик П. Агаев, помощник бурильщика Г. Шапор.



А вот и транспорт. Сейчас этот вертолет взлетит над поселком Тибей-Сале и возьмет курс на буровую.

лометров, но гул казался совсем рядом—такова мощь вырвавшейся из подземного плена стихии.

А потом, обойдя изгиб реки, мы увидели и пламя — перекрытый фонтан поджигают, чтобы определить некоторые его показатели. Громадное и подвижное, пламя нарастало с приближением к буровой.

Скорее, скорей! Перед буровой вездеход застопорился, и мы, теряя терпение, побежали, проваливаясь в глубоком снегу, обливаясь потом, распахивая сразу потяжелевшую теплую меховую одежду. И остановились, как вкопанные, перед мощным разливом огня.

На что похож горящий газовый фонтан? Трудно подобрать сравнение. Может быть, так изрыгают раскаленные газы сопла космических ракет. Может быть, так вырывается пламя из кратера вулкана. Одно могу сказать — нельзя смотреть спокойно на это половодье огня, его переливы и стремительные рывки, словно подвижное пламя хочет оторваться от тонкой трубки бокового отвода, давшей ему силу и движение. А давление таково, что у выхода газ не успевает загораться и вспыхивает, лишь пройдя метра три на свободе.

Мечется пурга огня. Тают снежные завалы. Горит под ними пожухший осенний мох. А вокруг всего этого взволнованные, счастливые лица. Такие минуты запоминаются на всю жизнь...

Когда мы снова вернулись на базу, там уже ждала телеграм-



Пламя тундры! Не оторваться взглядом от огненного разлива.

ма. Начальник Тюменского геологического управления Герой Социалистического Труда Юрий Георгиевич Эрвье, сам горячий поборник тазовского газа, писал: «Поздравляю коллектив с открытием большого месторождения».

Что же это за месторождение?

Тазовское, река Таз... Далекый Север нашей большой области. Край нещев-оленоводов, рыбаков и охотников несколько лет назад обновился людьми новой профессии: геологами, землепроходцами двадцатого века. И сразу изменилось содержание всей жизни дальнего края. Геофизики определили здесь огромные поднятия — структуры, в которых могут собираться нефть или газ. Площадь тазовской структуры, например, даже по неполным данным составляет 1000 квадратных километров. Если знать, что обычная площадь березовских структур раз в двадцать меньше, то можно себе представить, каким богатым должно быть месторождение: тысяча километров газовых толщ, огромные подземные резервуары «огненного воздуха».

Теперь скважиной завладели испытатели. По предварительным подсчетам она дает ежедневно около 700 тысяч кубометров газа.

А при такой площади уже сейчас, только в самом начале разведки, можно сказать уверенно: здешние месторождения затмят по своим масштабам знаменитые среднеазиатские Газли.

И еще одно преимущество тазовского газа: он расположен на небольшой глубине. Нынешний фонтан получен, например, с горизонта 1128 метров. Разведывать и бурить такие неглубокие скважины очень удобно.

Самое удивительное — сразу же находится потребитель: от Тазовского до Норильска немногим больше четырехсот километров. Мощная индустрия этого заполярного города ждет — не дождется ценного топлива. Можно считать газопровод Таз—Норильск делом недалекого будущего. А на дальнем прицеле — промышленность могучего Урала.

И еще одно подсказывает сама жизнь: именно около северных месторождений, непосредственно в районе работ, может быть создан один из новых центров большой химии.

Нет, не все просто у разведчиков заполярного газа. По существу работа только начинается. Геофизическая партия, руководимая молодым инженером-уральцем Аркадием Краевым, уже нацуживает вторую заполярную структуру. Расположенная к югу от тазовской, она будет еще больше своей северной соседки.

В эти дни забурена новая скважина номер три. Она определит другие газоносные горизонты. А следующая буровая, номер 13, уйдет глубоко под землю на три с половиной километра. Все данные говорят за то, что тазовская залежь должна быть «многоэтажной». Может быть, внизу окажется и нефть.

Немало забот и у геологов — двести семьдесят метров вечной мерзлоты, которые проходят бурильные трубы, все-таки сказываются. Даже недавно открытая скважина начала капризничать. Открытие первого в мире заполярного газа в вечной мерзлоте ставит перед геологами сложные инженерные проблемы. Такова нескончаемая цепочка поиска — новые открытия ведут за собой и новые сложности, которые требуют нового, неотлагательного решения.

Разведчики северных недр рады доложить: есть заполярный газ, закладывается основа нового района большой химии.

...В тихую погоду — она бывает так редко — жители поселка Тазовское, выходя на берег, долго смотрят вдаль. Над самым горизонтом, словно осколок луны, висит яркая огненная точка газового фонтана. Они смотрят на пламя тундры, видя в нем залог будущего расцвета своего далекого щедрого края.

НЕДЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ...

Сегодня конец недели — суббота. Ровно семь дней как я в командировке. Устала, скорей бы домой. Но домой нельзя, ибо не решен главный вопрос — каков же все-таки он, герой моего будущего очерка?

Вот он сидит за большим столом — уже немолодой человек среднего роста, седоватый, с насупленными бровями. Не то устал, не то раздражен чем-то. Отвечает на вопросы односложно, словно бы с неохотой...

— Что нового в хозяйстве, Василий Сергеевич?

— Ничего.

— Так уж и ничего?

— Ничего. Ни хорошего, ни плохого.

— Значит, зря приехала?

Молчание. Сложное молчание, в котором поровну — нежелания обидеть меня (мы знакомы с Василием Сергеевичем давно) и жуковской неприязни ко всякому хвастовству. А говорить о плохом язык не поворачивается, как у всякого руководителя. Вот и молчим...

— Ну что же, — я сдаюсь первой, — до свидания, Василий Сергеевич.

— Пойдите! — опасение показаться невежливым победило. Теперь он сделает вид, что предыдущего разговора вроде и не было. Так и есть: — Куда же вы? На отделение поедем, там приемы высокие. Я машину вызвал...

Узнаю Жукова. Нашел-таки что показать. Да и искать не надо было, рядом лежало, в сводке на столе. Изученной, кстати, директором вдоль и поперек.

Суббота. Конец недели. И время под вечер. А народ все идет и идет.

— Василь Сергеич, из Тюмени звонят. Сводки какие-то нужны...

— Так сводки еще вчера посланы. Какого черта. Скажите им. Только... повежливей.

— Товарищ директор, опять кирпич на стройку не завезли.

— Заявление принесла, Василь Сергеич. Насчет яслей...

— Машина подошла, Василь Сергеич.

В машине он устало говорит:

— Семь дней в неделе. Мало. Проскочат — не увидишь. Да, что там семь дней... Десять лет, как одна неделя.

Десять лет как одна неделя. А почему — десять? — думаю я в ту же субботу вечером. Наверное потому, что Жуков уже десять лет живет и работает в Падуне. А что, если, действительно, попробовать вместить десять лет в одну неделю? По одному самому яркому дню из каждых полутора лет? Не сложится ли тогда трудный жуковский характер сам собою, как мозаичная картина?

Попробую. Пусть неделя начинается с воскресения.

Девятнадцатилетние командиры. Жуков в тот день долго ходил по скотным дворам. Воскресенье выдалось холодным, дождливым, поселок тонул в грязи. К вечеру директор вымок и устал. Он поднялся в контору и некоторое время смотрел из окна на темный пруд, в который сливали спиртовые отходы. Бардой здесь пропахло все: и высокие сосны на крутых берегах, и старые коровники, задымленные тополя возле завода, сам воздух.

С чего же начинать? Жуков поморщился, вспомнив грязные, холодные базы, низкорослых рыжих коров. Рекордный надой от такой коровы — полторы тысячи литров молока в год. Урожаи низкие. И вообще — трудное непонятное для Жукова дело — сельское хозяйство. До Падунa он работал на юге, на Дальнем Востоке. Но только в промышленности. Там он привык к четкой организации труда, дисциплине, пунктуальности во всем... Пожалуй, с этого он начнет и здесь.

Мимо окон прошел, покачиваясь, бригадир. Хозяин той базы, откуда только что вернулся Жуков. Бригадир был пьян. Теперь понятно, почему его не могли найти. А распоряжение — убрать навоз из коровника, так за неделю и не выполнено...

Пьяный человек за окном поскользнулся и упал. Шапка отлетела в калаву. И теперь бригадир пытался ее достать, подползая к канаве на животе. Жуков брезгливо отвернулся. Потом быстро подошел к столу и на чистом листе бумаги написал: «Приказ номер такой-то. Уволить за невыполнение распоряжений директора и пьянку...» Он на мгновение задумался — не слишком ли круто для начала? Но уже через минуту решительно дописал начатое.

Да, так и надо. Только так. Строгая дисциплина. Никакой слабости. Он помнил, как на фронте наказывалось малейшее неповиновение командиру, как это неповиновение стоило иногда виновному жизни. И разве сейчас не те же принципы строгой дисциплины должны быть главными в руководстве?

Война кончилась восемь лет назад. Восемь — это в общем-то не очень много. Жуков еще хорошо помнил фронтовых друзей. Помнил, словно это было вчера, молодых ребят, едва успевших к концу войны окончить училище... О, эти девятнадцатилетние командиры были строгим и серьезным народом! Любой из них мог не колеблясь застрелить друга, если бы тот оказался предателем.

Тогда главным было разбить врага. Единственная и святая цель. Сейчас — тоже фронт. И тоже трудные задачи, хотя на земле мир. А для него, Жукова, главное в том, чтобы наладить производство. Все остальное — быт людей, их настроение, личные заботы — совершенно не касающиеся руководителя «сентименты». Вмешиваться в них — непростительная роскошь.

Короткое раздумье кончено. Жуков уверенно поставил дату под только что написанным приказом: «ноябрь 1953 года, число такое-то...»

На тему о сознательности. Понедельник — день тяжелый. Кто бы ни придумал — сказано это верно. С утра на директорском столе — сводка надоев за последнюю декаду. Жуков морщится — опять в райкоме разнос будет: надоев-то козьи. Он вызывает зоотехника, полную, энергичную украинку Елизавету Гавриловну Дегтярь. Сейчас он спросит с нее за показатели. Однако разносный разговор не получается. Потому что в доводах зоотехника есть серьезный резон:

— Я уже вам говорила — никакие полумеры здесь не помогут.

— Ну и что же?

— Надо обновлять стадо черно-пестрой породой.

Жуков это слышал. Он не то, чтобы против, в принципе Дегтярь права — на плохих коровах далеко не уедешь, но директора смущают расходы, хозяйство-то пока слабое. Хотя, если говорить честно, на нужное дело деньги найдутся. Не такое уж хозяйство

бедное, просто хозяин у него осторожный. Семь раз примерь, один отрежь. А вдруг и такое:

— Привезем, а они все передохнут...

— Все не передохнут. Несколько на худой конец останется. Через год—два выведем из них свою, сибирскую породу...

— А во сколько это обойдется?

Зоотехник называет приблизительную сумму. Директор поднимает на нее глаза пронзительной, как острие стали, голубизны. Сейчас он может наговорить невесть что. Но в это время в кабинет входит председатель рабочкома Василий Васильевич Володин, и обстановка мгновенно нейтрализуется, клин выбивает клин. Ибо как бы ни озадачивали Жукова предложения зоотехника, они кажутся производством. А профсоюзный лидер всегда просит, да не просит, а требует невероятно отвлеченного. Как, например, сегодня:

— Василий Сергеевич, был у Сединкиной дома. Плохо живет семья, почти что в сарае...

«Вона куда его носило. Делать, что ли, человеку нечего».

—...Вдова, двое детей. У нас уже двадцать лет работает...

— Ну и что же?

— Дом построить ей надо.

— Персональный особняк, с балконом? Коммунизма уже достигли, товарищ Володин? Сединкина ко мне не приходила, на квартирные условия не жаловалась...

— И не придет. На нашу сознательность надеется.

— Сознательность! — Жуков взрывается. — Ты лучше посмотри сегодняшнюю сводку по молоку. Вот бы где побольше сознательности. Стадо обновить надо... — Выразительный взгляд в сторону зоотехника... — Елизавета Гавриловна, завтра же поезжайте в Свердловск. Везите скот, будем налаживать животноводство по «высшей сознательности...»

Председатель выскакивает из кабинета, словно ошпаренный. Хлопают двери, в приемной со стола разлетаются во все стороны бумажки. Парень, который пришел зачем-то к директору, спрашивает у женщины-секретаря:

— Видать, у начальства плохое настроение. Может, не ходить?

— Если насчет сена, лучше не ходите. Не даст.

— Да нет, я насчет картошки...

— Тоже, наверно, не даст. Семена, вроде, только остались...

— Ну, а сам-то он как живет? Не пользуется?

Секретарша молча вставляет лист бумаги в машинку и начинает печатать. Трудно ответить на этот вопрос, потому что даже слово «пользуется» ни с которой стороны к Жукову не прикле-

ишь... Как-то два года назад, в первые дни работы нового директора, ему предложили выписать из совхоза яиц и мяса. Ох, крик же поднялся, словно буря пронеслась. Зато часто видят люди в магазинных очередях его жену, скромную, неразговорчивую женщину, работницу спиртового завода. Стоит, как и все... Покупает, что и все...

После ухода Володина Жуков успокаивается. Гнев его гаснет так же быстро, как вспыхнул. Хорошо, что решили с коровами. Неожиданно он вспомнил, как об одном директоре однажды сказали: «Он ведет хозяйство не как оно пойдет, а как ему, хозяину, надо...» Хорошо, правильно сказали. Да, именно так и будет в Падуне...

Интервью. День третий, вторник, лето 1958 года.

В этот день Жуков вернулся с районного совещания животноводов, где Падунский промсовхоз хвалили. Хвалили за высокие надои, породистый скот, разумную экономию и дисциплину. Вскоре с Жуковым беседовал корреспондент областной газеты. Интервью оказалось приятной и веселой беседой.

— «Особые условия?» — улыбнулся Жуков. — Простите, что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, — корреспондент ответил вежливо, он явно не хотел нарушать дружелюбного тона, — не «особые условия» как существующий фактор, а те разговоры, которые несколько необъективно комментируют успехи вашего хозяйства...

— Интересно — и что же это за «особые» условия?

— Барда. Изобилие кормов. Породистый скот...

Жуков рассмеялся:

— Не вижу во всем этом ничего необъективного. Все верно. И барда есть, и кормов много, и скот породистый. Но можно ли отнести хотя бы один из этих аргументов к разряду «особых условий»?

Он сел поудобней и с удовольствием объяснил:

— Барда — это отходы нашего завода. Хорошее пойло для коров. Но та же самая барда была здесь и 8—10 лет назад, а годовые надои не поднимались выше двух тысяч... Сейчас мы уже два года надаиваем в среднем от коровы по четыре тысячи литров молока. А наша лучшая доярка Ульяна Андреевна Сединкина надоила по 5200... Далее. Совхоз отпускает барду всем хозяйствам района, было бы только у них желание ее брать...

Он еще долго рассказывал о кукурузе, рационах, племенной работе со стадом и закончил, все так же любезно улыбаясь и произнося букву «р» на французский манер, слегка грассируя, что случалось с ним в минуты отличного настроения:

— Как видите, всякие рассказы об особых условиях — сплошной бред. Просто неплохо налажено производство, и все тут...

— Вы хотели сказать, — мягко поправил его корреспондент, — неплохо работают люди?

Жуков не уловил в вопросе ничего, кроме обычной обязанности газетного работника задавать нужные ему вопросы, и механически ответил:

— Да, да, конечно...

Они любезно расстались.

Но через два часа по дороге домой в голове Жукова вдруг зазвенела, закружилась волчком фраза: «Вы хотели сказать, что неплохо работают люди?», «Неплохо работают люди...» Люди... Они, конечно, неплохо работают, но он ничего такого не хотел сказать. Да и почему нужно людей хвалить? Они же обязаны работать, им деньги за это платят...

Но фраза не выходила из головы, и тогда директор остановился, пораженный внезапной мыслью: а что было бы, если бы он, Жуков, остался один на один со своим производством и дисциплиной? Коровы, тракторы, поля и он — один Жуков с ними?

Ему стало как-то не по себе от такой картины. «Вы хотели сказать, что неплохо работают люди?» Да, конечно. Без них ничего бы не было... Ни молока, ни хлеба, ни сегодняшнего интервью... Смешней всего, что такую простую истину приходится открывать на 52-м году жизни... А ведь до чего несложна, элементарна, даже и открывать-то нечего...

Он не заметил, как подошел к старой развалюхе, где жила с ребятишками Ульяна Андреевна. Постоял, послушал, как неровно бьется сердце, как шумят летним вечером сосны на берегу пруда и подумал: «Мы построим здесь много-много новых домов. Целый городок. Для доярок, трактористов, скотников. Пусть дома будут просторные, красивые... А Ульяне Андреевне — в первую очередь... Построим на отделениях столовые и клубы. Построим ясли...»

Моя партия. Это — мысли, подслушанные однажды, в тяжелый для моего героя день. Мысли сокровенные, без лжи и притворства. Без тени неискренности. Страстное раздумье в середине жизни.

...Сегодня я могу позволить себе сказать несколько громких слов. Слабость эта невелика, потому что все равно, кроме меня, их никто не услышит.

В машине по дороге с Пленума мысли мои путались, и я никак не мог додуматься до главного. Сейчас боль стихнет, и это

«главное» складывается в голове все яснее: коммунист — это не просто член одной из политических партий мира, это особое, качественно отличное состояние человека. Несколько часов назад меня исключили из партии. Так и сказали: «Жуков, ты больше не коммунист». Но это невозможно. Я не могу быть не коммунистом, если хожу по земле, разговариваю, дышу. То есть пока я жив, я не могу быть не коммунистом...

А сегодня меня не захотели даже выслушать, сегодня Жукову, исключенному из партии, не к кому апеллировать, кроме своего сердца и совести...

Дисциплина есть дисциплина. Тем более партийная. Члены райкома посчитали меня виноватым перед партией. И я не могу начисто отвергнуть их обвинения хотя бы уже потому, что подчинение рядовых коммунистов вышестоящим партийным органам обязательно...

Но с другой стороны, никак не могу понять — зачем нужно подрывать экономику района? Сдать три плана по хлебу — это, конечно, хорошо. И району почет, и стране больше зерна... А если хозяйствам не под силу три плана? Если они отдают семена и фураж? А потом весной, да что там весной — еще зимой протягивают руку государству? Скот зимой дохнет от бескормицы, а весной выходит на пастбище чуть ли не с подпорками... Тут уже не до молока, не до жиру. Кому это нужно? Моей партии это не нужно, народу не нужно. Нужно нашему секретарю. Ради минутной славы...

Не могу понять этого человека. Вернее, как человека его еще, может быть, можно понять — человеку свойственны человеческие слабости, в том числе и едва ли не худшая из них — жажда личной славы... Но как коммуниста — не могу. Не могу понять коммуниста, который видит не дальше сегодняшнего дня...

Не вижу здесь ничего, кроме вреда самому делу, за которое борется партия...

Как коммуниста, меня можно было обвинить в другом (теперь я уже понял — что можно): за грубость, невыдержанность, небрежность по отношению к людям. Может быть, я виноват и в том, что низки пока урожаи, а животноводство в совхозе недостаточно механизировано... За это нужно спросить с коммуниста Жукова, но сегодня в райкоме этих вопросов не касались.

Поеду в обком, в ЦК. Не может быть, чтобы моя партия не поняла, почему директор совхоза поступил так, а не иначе...

Это было почти четыре года назад. Жукова, конечно, восстановили. А зимой Заводоуковский промсовхоз занял в области первое место по надою молока. Тогда и полу-

чила Ульяна Андреевна Сединкина орден Ленина. А секретарь, тот, с которым спорил Жуков, уже давно не работает. Просто Василий Сергеевич оказался прав в том, что один коммунист, пусть и руководящий, еще не партия.

А три плана по хлебу хозяйство вскоре выполнило. Вырастили хороший урожай, засыпали семена, оставили фураж... И стране — полные ладони горячего пшеничного золота!

Так прошла среда, четвертый день нашего рассказа.

Поединок. Сентябрь 1961 года. Ровно шесть месяцев назад в хозяйство пришел новый партийный секретарь — Юрий Дмитриевич Елдышев.

— Сегодня партийное бюро, Василий Сергеевич, прошу вас не уезжать во второй половине дня.

— Вопросы?

— Распределение членов бюро пропагандистами на отделениях...

— И меня пропагандистом?

— Да, конечно.

Оба молчат. В комнате пока спокойно. Только директорский карандаш начинает слегка постукивать по столу.

— Может быть, у директора совхоза и без того достаточно дел?

— Разумеется. Как, впрочем, и у любого другого члена бюро.

— Гм... Что-то, Елдышев, мне не нравится наш разговор...

Словно ходим вокруг да около, приглядываемся...

— Мне тоже не нравится. И заметьте — полгода уже приглядываемся. Тихие оба, вежливые. Ни ссоры, ни серьезного разговора по душам. Можно подумать: до чего же спокойный и милый человек — директор Жуков, до чего же покладистый и сговорчивый секретарь партийной организации Елдышев!

Карандаш успокоился. В глазах директора легкая смешинка хитреца. Сейчас он повернет весь этот разговор так, как ему нужно. Берегись, Елдышев, своей же логики!

— Вот и прекрасно, что можно так подумать. С меня достаточно острых отношений с вашим предшественником. Надоело.

— Я согласен, острые отношения могут не только надоест. Могут даже изменить характер человека. Не говоря уже об испорченном настроении и прочем...

— Иронизируете? И совершенно напрасно. Потому что, если вам нечего делать, у меня забот по горло и некогда разводить философию...

— Хорошо, пусть без философии. Сегодня бюро, ваше присутствие обязательно. Подумайте, на каком отделении вы хотели бы вести пропагандистскую работу.

— Ни на каком, черт возьми...

— Это невозможно. Решение принято абсолютным большинством коммунистов организации.

Карандаш летит через стол, скатывается на пол. Теперь директор выбивает дробь по столу пальцами. Этот Елдышев, оказывается, не такой уж тихий, как ему показалось сначала. Ну что ж, попробуем иначе.

— Послушайте, Юрий Дмитриевич, да что случилось? Полгода мы с вами жили тихо-мирно.

— И сейчас не ссоримся...

Елдышев поднимает с пола карандаш, кладет его перед Жуковым на стол.

— Василий Сергеевич, вы же достаточно умный человек, чтобы не считать других дураками. Будем откровенны. Я думаю — не потому коммунисты избрали Елдышева секретарем, что такая должность предусмотрена штатным расписанием. Просто секретарь нужен коммунистам. И вам тоже. И совхозу... И из него, голубчика, можно столько пользы для общего дела извлечь, если не хранить за стеклянним колпаком. Как эталон такого добропорядочного уживчивого партийного работника.

Жукову становится неловко. Ничего особо неприятного Елдышев не говорит, но удивительное совпадение насчет этого «колпака». Вчера в совхоз приезжал работник районной газеты. Прямо с машины зашел в кабинет к директору, расспросил его о делах хозяйства, записал некоторые цифры и стал прощаться. Подавая ему руку, Жуков сказал: «Вы бы зашли к нашему секретарю, а то он еще обидится». В ответ на недоуменный взгляд разъяснил: «Знаете, так принято...» Ерундовый, вообще-то эпизод, и Елдышев о нем не знает, но у Жукова почему-то пропадает всякое желание поворачивать разговор против елдышевской логики...

— Бытует мнение, что директор или председатель никогда не ладят с секретарями своих партийных организаций. Такое и в самом деле случается. Словно не два коммуниста, а два тщеславных князька столкнулись на узкой тропинке. Идут бедняги в разные стороны и уступить друг другу не хотят...

«Я понял, почему мне неприятно вспоминать вчерашнюю встречу, — думает Жуков. — Так, как я сказал о Елдышеве, можно сказать только о человеке чужом, который не связан с тобой ни общей работой, ни единой партийной совестью. Но вот что интересно — он со мной связан, а я вроде нет.. Почему?»

— Думаете, я не понимаю, чем вызван ваш сегодняшний отказ? Только не тем, что Жуков не любит пропагандистскую работу. Мне доподлинно известно, с каким блеском вы читаете лекции, и как это и вам и слушателям нравится... Василий Сергеевич, не надо пробовать меня на зуб. Поверьте на слово — не из глины. Мять, жать и крутить — не получится. А главное — зачем?

— Ваш предшественник пытался подменять чисто администраторские функции директора. Это мешало работе, и я привык...

— ...Обороняться? Слушайте, Василий Сергеевич, два коммуниста всегда сумеют разобраться в правильности своих отношений. Я уверен, у вас достанет мужества объективно принять этот разговор. Зачем нам брести по мелководью, если рядом глубокое и сильное течение?

Жуков встал, поставил карандаш в деревянный стаканчик и медленно пошел к двери. На пороге оглянулся. Елдышев смотрел на него пристальным и открытым взглядом. Весь его вид не оставлял сомнения в искренности только что сказанного.

— Бюро в шесть? — спросил Жуков. Елдышев кивнул головой.

Дверь закрылась. Теперь они были в разных комнатах, но поединок не кончился. Двое продолжали говорить, не видя и не слыша один другого, но обращаясь все-таки друг к другу...

Поражение? Формально — да. Он ушел, так ничем не ответив на мою откровенность. Но семена упали на добрую почву — этот человек со сложным и проговорчивым характером очень честен — перед собой и людьми. Кроме того, у коммуниста Жукова есть одно качество, которое неизменно приводит его к правильным, партийным отношениям с товарищами по работе. Это дисциплина. Жуков мужественно, без уловок подчиняется любому коллегиальному решению, если это решение уже принято. Возможно, что сегодня будет именно так — победит дисциплина. Но завтра он поймет, зачем я затеял этот разговор...

— Мне будет трудно с тобой, Елдышев. Я, кажется, понял, чего ты хочешь. Не обороняться, как было с Волкотрубом, не наступать, как было до него... А что же, Елдышев? «Зачем нам брести по мелководью, если рядом глубокое и сильное течение?». Предположим, что Жуков не трус и не боится глубины. Но когда человек немолод, ему очень трудно в чем-то ломать себя. Привычки, наши многолетние привычки крепче любого сплава... Я знаю, мне будет трудно с тобой, Елдышев. Ты не сделаешь скидок ни на возраст, ни на занятость, ни на эти самые привычки... И поступишь единственно правильно. Сейчас я просто зол. Ты ведь

всыпал мне, как мальчишке. Но пройдет несколько дней, и ты увидишь, что не напрасно затеял сегодняшний разговор...

Тайное становится явным. Именно так случилось с Василием Сергеевичем Жуковым в конце декабря 1962 года. В этот день были закончены последние сложные расчеты, и стало ясно, что... Впрочем, все по порядку.

Пожалуй, пятница ничем не отличалась от предыдущих дней недели в том смысле, что бухгалтерия, специалисты и сам директор с утра до вечера щелкали костяшками счет, крутили арифмометры. К вечеру все листки с цифрами один за другим легли на директорский стол. Начался сложный процесс анализа и синтеза — то главное и тайное, ради чего велась тщательная выборка данных из отчетов, планов, сводок.

Зоотехники думали: директор обеспокоен кормовой базой. Сейчас, когда хозяйство стало откормочным (реорганизация произошла в октябре 1962 года), очень важно изыскать все кормовые резервы. Бухгалтер думала: «Видать, собирается наш директор отчитываться на каком-то собрании». Секретарь, собирая для Жукова последние данные о привесах, полагала, что это неспроста, будут какие-то перемены...

Сам директор думал: «Только бы не раззвонили раньше времени...» Ох, до чего побаивался он участи синицы, которая хотела зажечь море.

И ему удалось сохранить свою цель в тайне до тех пор, пока все расчеты не были закончены и новая идея не стала полностью аргументированной. Тогда тайное превратилось в явное. Оно легло в ровные, суховатые строчки жуковского доклада, написанного им для экономической конференции.

— Товарищи, — сказал Жуков, поднявшись на трибуну конференции, — мартовский Пленум ЦК партии поставил перед работниками животноводства конкретную задачу — в ближайшие годы произвести по 75 центнеров мяса на 100 га пашни и по 16 центнеров на 100 га других угодий.

В зале насторожились: «Да, есть такая задача, ну и что?»

— Подсчитав свои возможности, мы решили, что уже в 1963 году сможем взять этот рубеж...

Аудитория заволновалась: «А конкретней, конкретней...»

— Перехожу к цифрам. У нас двенадцать с половиной тысяч га пашни, восемь тысяч шестьсот — других угодий. Из расчета этой площади нам надо получить в 1963 году не менее 17900 центнеров мяса в живом весе. Из чего исходил совхоз, ставя перед собой эту задачу?

Конференция притихла, начиналось самое главное:

— Товарищи, чтобы получить 17900 центнеров мяса, мы должны от каждой головы крупного рогатого скота, поставленной на откорм, иметь по 600 граммов ежесуточного привеса...

Он так и сказал: «от головы», и никто даже не улыбнулся.

— И от каждой свиньи по 500 граммов в сутки весь год...

Кто-то в зале сказал негромко: «Круглый год будет трудно по 500 граммов». Но Жуков, вероятно, не расслышал, иначе бы не упустил возможности козырнуть именно мартовскими привесами в прошлом году.

— Поскольку наше хозяйство уже с октября 1962 года почти полностью перестроило свою работу на ведение откормочных операций, возникает вопрос — насколько приведенный мною расчет соответствует действительному положению дел на сегодняшний день... По плановому расчету, то есть, чтобы взять первый рубеж, мы должны содержать круглый год на откорме 5350 бычков и 4000 свиней. На первое марта у нас имеется 6343 головы крупного рогатого скота и 6366 свиней...

Почему-то улыбается Пахотин, секретарь парткома управления. Оторвался от блокнота, смотрит на Жукова, и задумчивая улыбка светится в прищуренных глазах. Наверно, вспомнил, как исключали падунского директора из партии. Тогда не прошло и месяца, как коммунисты все поставили на свои места... И перешагнул человек через эту несправедливую беду, отстранил ее со своей дороги.

— Считаю необходимым доложить конференции, что реальность взятых нами обязательств подтверждается показателями переродных откормочных отделений.

«Люди неплохо работают?» — неожиданно вспомнилось Жукову, и он улыбнулся, потеряв фразу. Вот здесь о людях и надо сказать.

— Так, например, на отделении № 5, где управляющим Давид Карлович Райхерд, суточный привес бычков за четыре месяца составляет в среднем 750—760 граммов. Это больше, чем мы рассчитывали.

В зале захлопали.

— А есть у нас и такие кормачи, как Лена Баженова...

Он поправился:

— ...Елена Михайловна Баженова. По ее группе привесы составили в среднем 1027 граммов за четыре месяца. У Галины Петровны Матвеевой — по 928, у Ани Чуриловой — столько же.

Жуков еще долго называл фамилии лучших людей совхоза. В зале хлопали. И Жукову от этого становилось как-то удивительно спокойно и тепло. Он рассказал о втором рубеже, который хозяй-

ство непременно возьмет в следующем году и даст стране 20767 центнеров мяса, о себестоимости, которая была в 1962 году несколько выше плановой, но в этом — будет ниже плановой, выложил подробные цифры по кормам. И кончил словами: «Коллектив совхоза заверяет...».

Ему долго аплодировали.

Эта речь была прочитана Жуковым на экономической конференции в Заводоуковском опытно-производственном хозяйстве. Тайное стало явным настолько, что теперь надо было нести ответственность за каждое свое слово перед всей областью.

Воспитание чувств. И вот суббота, последний день недели. Вернее, ночь на воскресенье. Ночь, полная тишины и покоя. На письменном столе в кругу зеленоватого света от лампы — счеты и чистая бумага. В окно смотрит большая красная луна. Осень. Полумасленная комната наполнена причудливой игрой света и тени. В мире тихо, таинственно и красиво.

Но что эта красота для человека, который два часа, не отрываясь, щелкает костяшками счет? Колонки цифр растут, а Жуков сердится.

— Ну, подожди, — говорит он вслух, — я до тебя доберусь...

Добирается директор до себестоимости. И вот, наконец, она — немножко больше семидесяти рублей за центнер привеса. Гм... а ведь могла бы быть и поменьше. Но не все сразу, не все сразу... Зато рубеж. Что же рубеж? Получается, — подтверждают цифры.

— Ну вот видите, уважаемая, — говорит директор, поднимаясь из-за стола, — все правильно, напрасно вы волновались...

В комнате никого нет, только лунные блики на полу. Но как часто мы разговариваем с людьми, которых нет рядом. Спорим, доказываем, иногда даже признаем себя виноватыми.

— Извольте взглянуть на расчеты, — он трясет листами бумаги с колонками цифр, — выходим на рубеж «75 и 16». И заметьте, благодаря тому, что избавились от ваших коров. Ну-с?

«Уважаемая» — это Елизавета Гавриловна Дегтярь, главный зоотехник совхоза. Поскольку ее нет в комнате, она ничего не может ответить Жукову. Но, конечно, он не случайно обратился к ней. Тут все дело в коровах. Тех коровах, которые были выращены в Падуне, раздоены здесь до рекордов, а потом при преобразовании хозяйства в откормочное переданы в другие совхозы и колхозы района. Казалось бы, все просто — совхоз специализировался на откорме, зачем ему коровы? Их и отдали... Но если бы, действительно, это было так просто. Если бы в жесткие доводы рассудка не вмешивались иногда человеческие чувства! Елизавете Гавриловне было жаль коров. Она к ним привыкла, к тому же

не без основания полагала, что в других условиях им будет хуже.

Полгода прошло с того дня, как в тресте было принято решение, а коров не увозили... Елизавета Гавриловна металась между дойным стадом и откормочниками. Потом не выдержала, пришла к Жукову:

— Давайте что-нибудь одно, Василь Сергееч. Сил нет за двумя зайцами гнаться...

— А не жалко?

— Очень...

— Но вы же сами убедились, что специализация невозможна при дойном стаде.

Коров увезли. Новое дело, казалось, захватило всех. Казалось, все утряслось. А вот сейчас, ночью, директор вдруг вспоминает, как плакала в тот день Лена Баженова. Смешно шмыгала носом и вытирала глаза грязным халатом. Точно такой, в слезах, увидел он ее и через полгода, когда Лена уже работала кормачом на группе бычков. Тогда она стояла возле больного бычка и сквозь слезы причитала: «И почему я тогда с коровами не уехала, уехали же наши...» Лена проработала дояркой столько же лет, сколько он директором совхоза — десять. Вместе с ней работали Галя Матвеева, Ульяна Андреевна Сединкина, Аня Чурилова, Мария Гейнец, Нина Фетисова. Имена-то какие! По шесть, шесть с половиной тысяч литров молока от коровы надаивали падунские доярки!

Елизавета Гавриловна до сих пор ходит печальная, никак коров забыть не может. И когда Жуков смотрит ей в глаза — встречает строгий, осуждающий взгляд. Как будто ему и не хватает собственной совести, которая часто вот такими бессонными ночами не дает покоя... И вся беда здесь не в замене коров вообще. Раз хозяйству выгодней быть откормочным, то надо это делать, несмотря ни на какую жалость... Но и специалисты, и работники треста знали, что коровы приспособлены только для падунских условий. Во всяких других — то есть без барды — они должны были потерять свою высокую продуктивность. Знали и сознательно с этим не считались.

Жуков говорил об этом в тресте. Говорил, но не спорил, хотя мог. А не спорил потому, что надоели эти коровы. Сколько с ними было возни! Покоя — ни днем, ни ночью. А теперь некоторые коровы, действительно, испорчены, и совесть казнит директора без пощады и скидки.

Ночь за окном стала гуще, потемнела. Луна скоро совсем зайдет. А человек за столом устал. Человек этот не молод. Он сидит,

глубоко задумавшись, и неяркий свет лампы скользит по темным, с серебряной проседью волосам. Конечно, сколько бы он ни думал — специализация хозяйства нужна. Все сделано правильно. Но сам метод перестройки — лес рубят, щепки летят — непостижимая роскошь для советского хозяйства. О коровах просто не подумали, растолкали, куда придется, «щепочки» получились дорогие.

Воспитание чувств. Если бы оно ограничивалось коровами. С людьми гораздо серьезнее и труднее. Где речь идет о людях, Жукову чаще всего вспоминается Юрий Дмитриевич Елдышев, чью дружбу он очень ценит. И хотя прошло больше двух лет и Елдышев уже не работает в совхозе (сейчас он — председатель комитета партийно-государственного контроля управления), директор часто думает о том, как прав был парторг. Да, без людей сегодня нельзя.

Но суть не только в этой элементарной истине. На фронте Жуков видел, как умирали девятнадцатилетние парнишки-командиры. Ребята требовательные, строгие, беспощадные. Тогда, на войне, без этого просто нельзя было победить. Тогда — да, а сейчас?

Жуков трет уставшие виски, волнуясь от этого ночного воспитания.

...А сейчас все иначе и сложнее. И потому он, твердый, без психологических «сентиментов» руководитель, не спит этой ночью. Все очень просто — новое время, новые принципы в руководстве. И разве не видно, что Жуков очень изменился за последнее время? Ответьте, люди, разве не видно? А когда вы входите в новые столовые, новые клубы, справляете новоселье? Или гуляете по берегу очищенного пруда?

Он подходит к окну и смотрит, как бледнеют звезды. Скоро утро. Там, на востоке, небо прорезала тонкая розовая полоса — уходит за горизонт реактивный самолет. Он так высоко, что здесь, на земле, даже не слышно шума мощных моторов. И лишь в какой-то миг глухой мгновенный взрыв — это значит, звуковой барьер преодолен, теперь самолет летит со скоростью звука. Розовая лента опоясывает купол неба и скрывается в пламени зари.

Сейчас там, в кабине стремительной птицы, человек испытывает большую перегрузку. В ушах его шум от вмиг отяжелевшего потока крови, трудно дышать. Но так надо. Прежде чем воздушные корабли полетят к солнцу, их капитаны пройдут через все земные перегрузки...

У летчика темнеет в глазах, но с земли этого не видно. Виден только блестящий след, уходящий в пламя зари. У директора бо-

лят уставшие за ночь виски, ему очень хочется спать. Но уже утро, идет новый день, в котором дел и забот ничуть не меньше, чем во вчерашнем... Совхоз сдает государству последние центнеры мяса в счет взятого большого обязательства. Первый рубеж взят. Закончено строительство новой средней школы, на днях ее открытие. На берегу пруда вырос светлый городок — целая улица новых домов для животноводов.

Очень правильно, если воспитание чувств, через какие бы ошибки, ссоры и сомнения оно ни шло, кончается так.

Идет утро, и светлеет земля. Потоки искрящихся лучей опускаются на крыши домов, белые верхушки сосен, засыпанный снегом пруд. Солнце поднимается все выше, заливая ослепительным светом зимнюю дорогу. Я выхожу на улицу и не верю своим глазам — неужели это она? Наша серая шоссе-работяга? Еще вчера такая скучная и грязная, сегодня в розовом свете утра она кажется нарядной и сверкающей. Директорский газик быстро пронесется мимо меня, постепенно исчезая, стора в потоке красного пламени... И я думаю, что здесь, на земле, людям нужно ничуть не меньше мужества, чем в небе...

Так кончается неделя и начинается новая. С воскресенья.





Гонял лошаденку
 да грязь отрясал от лаптей
 Безвестный до срока смоленский крестьянин Гагарин.
 Но в этом народе
 великая сила жила.
 ...Горел ты, Джордано,
 и в муках последних не плакал.
 А те россияне,
 пройдя сквозь столетия зла,
 Тебя,
 несгоревшего,
 подняли в небо,
 как факел.
 Кой-где и сейчас
 правду сжечь изуверы хотят
 И лучшие головы
 на землю катятся
 с плахи,
 Но русские соколы,
 беркуты,
 чайки летят,
 И внуки твоих палачей
 перед ними сжимаются в страхе.
 Открыта Вселенная
 мужеству мирных людей...
 Костер твой,
 Джордано,
 стал гимном идее высокой.
 И ныне,
 как прежде,
 в короне пурпурных лучей
 Рассветное солнце
 встает
 непреклонно
 с востока!



КОСАЧИ

Как спокойно, тепло на душе,
Я лежу с ружьем в шалаше.
Лес молчит — ни звука вокруг.
Только сердце тук-тук,

тук-тук...

Тише, тише ты, не стучи —
Прилетели косачи.
Перья радугую горят;
Сквозь деревья сочится заря.
Я во власти птичьего свиста —
Косачи — лесные артисты.
Эх, пальнуть бы сейчас, пальнуть!
Только я не могу дохнуть
И боюсь рукой шевельнуть,
Чтобы этот концерт не спугнуть.
Где-то треснул простуженно сук.
Показались солнца лучи.
Встрепенулись, взлетели вдруг
И нырнули в зарю косачи.
А теперь хоть зови, хоть кричи —
Не вернуться назад косачи.

Перевел с хантыйского
Николай КАСЬЯНОВ



ИЗБОЛ ЯВЛЕН НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ ТЮМЕНСКАЯ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

* * *

Каждый кустик мне здесь знакомый,
Каждой сосенке песни петы.
Я сегодня прощаюсь с домом
В теплый вечер бабьего лета.
Проводить меня ласточки шалые
Послетелись со всей округи,
А полынь, как девчонка малая,
Просит-просится взять на руки.
А у ели седые слезы:
Ей так хочется в путь со мною!
Не завидуйте мне, березы,
Не завидуйте, кедры стройные.
Трудно с краем порвать знакомым,
Грустью песня моя согрета.
Я сегодня прощаюсь с домом
В теплый вечер бабьего лета.

ТЮМЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

ТЮМЕНСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ПОЭЗИИ

ТАК БЫЛО

Главы из романа

БОГДАН ШАМОВ

1

Война налетела на страну, как смерч. Сорвала с насиженных мест миллионы людей и закружила их в гигантском водовороте. Опустели города, обезлюдели села. Целые народы срывались с исконных земель и растворялись в черном вихре войны.

Не умолкая, гудели рельсы железных дорог. Эшелоны везли в Сибирь станки и оборудование, покалеченную боевую технику, раненых, беженцев, эвакуированных.

Человеческая лавина захлестнула Западную Сибирь. Прокатилась она и по Малышенскому району. И вот уже в каждом доме появились новые жильцы, в школе разместился госпиталь, а районный Дом культуры то и дело превращался в пересыльный пункт.

В первые месяцы войны население Малышенки увеличилось втрое. Ленинградцы, москвичи, киевляне, да разве перечислишь всех, кого приютила, обогрела, обласкала великодушная и щедрая матушка-Сибирь.

Среди новоселов Малышенского района был и заведую-

Роман «Так было» выйдет в свет в Средне-Уральском книжном издательстве в 1964 году.

щий агитпропом райкома партии Богдан Васильевич Шамов. Он появился здесь в первые дни войны. Говорили, что прежде Шамов работал в Подмоскovie секретарем райкома партии. Там он будто в чем-то проштрафился. Его сняли с поста и... Впрочем, что было и почему Шамов оказался в Малышенке — никто толком не знал.

Сам он называл себя эвакуированным и все время сетовал на здоровье.

Поначалу Богдан Васильевич очень недолго возглавлял районо. А потом, когда на фронт сразу ушла добрая половина работников райкома партии, стал заведывать отделом пропаганды и агитации.

В Малышенку Шамов приехал вместе с женой Луизой и семнадцатилетним сыном Вадимом.

Луиза была миниатюрной и хрупкой по виду. В ее подевичьи легкой и гибкой фигурке все было строго симметрично и пропорционально. От всего облика женщины веяло чистотой и свежестью. Светлые пепельные волосы гладко зачесаны назад. Лицо доброе, с мелкими, но мягкими и правильными чертами. И только васильковые глаза казались непропорционально большими. Они были всегда широко раскрыты и светились каким-то глубинным светом. Под их взглядом человек чувствовал себя просвеченным насквозь.

Двадцать лет прожила Луиза с Богданом Васильевичем. Когда он учился в институте, она шила. Больше всего шила для подростков. Луиза очень любила детей и с болезненным нетерпением ждала своего ребенка.

Позже заведывала районным ателье. Оно было маленькое, неказистое, и молодая женщина пережила много горьких минут, прежде чем ее заведение добилось признания жителей района.

Она все делала сама, бесшумно, но споро. Ее маленькие, тонкие руки не гнушались и не боялись никакой работы. Они мазали и белили, стирали и шили, стряпали и мыли.

Богдан Васильевич считал жену человеком тонкого ума и великолепной наблюдательности.

Вероятно, он любил ее. Во всяком случае, ему так казалось. Он относился к ней сдержанно-ласково, с легким оттенком собственного превосходства.

Наверное, они так и дожили бы до конца своих дней, если б не война. Она ударила по семье Шамовых с иной, подветренной стороны.

Луиза была немкой. В бесчисленных анкетах и автобиографиях Шамов так и писал, что его жена Луиза Шпиллер—немка. За двадцать лет совместной жизни никто ни разу не обратил внимания на этот факт. Но, когда началась война с гитлеровской Германией, война с немцами, — все изменилось.

Правда, о том, что его жена немка, в Малышенке еще никто не знал. Но каждую минуту могли узнать и тогда... Ожидание этого «тогда» угнетало Богдана Васильевича, держало в состоянии постоянного напряжения и страха.

Шамов совсем потерял покой после того, как заведующая отделом кадров райкома партии попросила его заполнить анкету для обкома.

Под разными предложениями он отодвигал заполнение злополучной анкеты. Когда же больше нельзя было откладывать, Богдан Васильевич решился объяснить с женой. Он предполагал, что объяснение получится длинным, трудным и неприятным, но ошибся.

Разговор получился очень короткий. Его начала, как он и хотел, сама Луиза.

— Ты какой-то хмурый стал, Богдан, — сказала она, не поднимая от шитья головы. — Что тебя гнетет?

— Видишь ли, Луиза, то, что я скажу, удивит и обидит тебя. — Он сделал большую паузу, закурил. — Но ты должна понять меня и простить.

Она глубоко уколола палец. На месте прокола сразу же появилась бусинка крови. Луиза даже не заметила этого. Подняв васильковые глаза на мужа, взгляделась в его напряженное, пасмурное лицо и просительно-тихо сказала:

— Ты говори, Богдан, говори. Я ничего.. Я не обижусь.

— Идет жестокая война, Луиза. Наши враги — немцы. Сейчас для советского народа немец и фашист — одно и то же, и все немецкое, все, что хоть как-то связано с ними...

— Не надо больше. — Она прижала тонкие ладони к пепельным волосам.

— Пойми, Луиза. Я ведь думаю не о себе. Ты знаешь мое отношение...

— Не надо. Умоляю тебя. Сегодня же я уеду...

— Зачем так спешно и куда?

— Куда-нибудь. Ты не беспокойся. Да-да, пожалуйста, не беспокойся. Вот сейчас я живенько соберусь и уеду.

— А Вадим? Он в колхозе, на уборке. Вызвать его?

— Нет, нет. Ради бога не надо. Так лучше. И ему и мне. Помоги мне собраться, Богдан.

На какое-то мгновение душа Шамова болезненно запыла от сострадания и любви к этой маленькой мужественной женщине, его жене, и ему нестерпимо захотелось приласкать ее. С кончика языка готовы были сорваться добрые, сердечные слова. Но он вовремя спохватился, вовремя одернул себя, зажал душу в кулак, да так крепко, что почувствовал жестокую боль в груди. Кровь отлила от лица, глаза помутнели, — но он и это превозмог. Не вскрикнул, не застонал. Только на секунду зажмурился, спрятавшись от ее всевидящих глаз.

Он боялся взглянуть на жену. А она ничем не выдала своего волнения. Лишь тонкие руки дрожали, свертывая вчетверо юбку, да в крохотной выемке под пепельным виском часто-часто пульсировала жилочка.

«Крепись, крепись», — подбадривала себя Богдан Васильевич, отводя глаза от дрожащих рук жены. Какая-то неведомая сила снова и снова притягивала его взгляд к ее прозрачным рукам, к беспомощно тонкой и хрупкой шее, на которой все время шевелился круглый желвачок: Луиза глотала слезы. Он боролся с этой силой, заставлял себя подолгу смотреть на шляпку гвоздя в половице, на медную гирьку настенных часов. Проклятые ходики словно замерзли. Тикают так, что в ушах звенит, а стрелки — ни с места. Подумать только, с начала разговора прошло всего двадцать минут. Сколько же еще ему ждать!? «Жди! Жди! Жди!» — приказывал он себе. И старые ходики, подхватив это слово, залопотали: «Жди-жди-жди, жди-жди-жди». «Потом станет легче. Так всегда бывает. Пройдет. Все пройдет. Только выдержать. Не смотреть, не распускаться», — уговаривал он себя, намертво сцепив зубы.

— Давай обедать, — сказала она.

И они обедали.

Луиза налила по рюмке нивесть откуда добытой настойки. Выпила первой. Отщипнула кусочек хлеба, медленно проглотила несколько ложек супу. Вскинула огромные глаза на мужа. На мгновение их взгляды встретились, и Шамов увидел в глубине ее глаз тоску обреченного на смерть. Он опустил голову. Глядя на его лергаментный череп, она медленно говорила:

— Все зимние вещи — носки и шарфы, и рукавицы — в нижнем ящике комода. Вещи Вадима — в среднем. Я да-

ла задаток соседке. Она обещала связать Вадиму свитер. Не забудьте его забрать. Отдадите еще четыреста рублей...

Мертвым, бесстрастным голосом она перечисляла и перечисляла, где что положено, что нужно сделать.

Он слушал, не понимая. Ее слова казались ему крупными дождевыми каплями, которые уныло стучат и стучат по железной крыше над самой головой. Где-то он уже слышал этот монотонный, тревожащий душ, шум осеннего дождя. «Симфония осени», — всплыли в сознании слова, и Шамов содрогнулся...

Первый год после свадьбы юные Шамовы прожили в крохотной комнатенке на чердаке. Луиза называла ее «наша голубятня». Там, в этой голубятне, Шамов впервые услышал, как воеет ветер, как царапает стены метель, как стучится в крышу унылый осенний дождь. Свернувшись клубком, Луиза крепко прижималась к нему и жарко шептала размягченным голосом: «Как хорошо. Ты только послушай, какая волнующая симфония осени»...

Так вот откуда, из какой глубины вытаскила память эти слова.

— Симфония осени... — беззвучно прошептал Богдан Васильевич.

Узор на скатерти двоился в его глазах, в ушах шумели, звенели, выстукивали крупные частые горошины дождя, а голова тяжелела и гнулась, клонилась книзу, словно налитой колос на осеннем ветру. Вдруг в ней лениво шевельнулась и вяло забилась тяжелая, неповоротливая и скользкая мысль: «К черту все... к черту все... к черту...»

Он уже приподнял кулак, чтобы грохнуть им по столу и прокричать, выпустить на волю эту бьющуюся в черепной коробке мысль, но... не сделал этого. Снова переборол себя. Домолчал, досидел, дождался, когда Луиза поднялась. Положила сверху в чемодан ложку, стакан и кусок мыла. Огляделась вокруг и стала одеваться. Он тоже потянулся было к вешалке, но она жестом остановила его.

— Я сама.

Подошла к нему вплотную, подала узкую, холодную ладонь.

— Желаю счастья. Береги сына. Прощай.

Быстро повернулась, подхватила чемодан, ушла.

Он подошел к окну, затянутому частой сеткой осеннего дождя и долго провожал жену взглядом. Она шла торопливой, неверной походкой. Под тяжестью чемодана слегка

клонила ее по-девичьи тонкая фигура. Дождь в одно мгновение смыл, загладил следы маленьких ног Луизы, и сама она скоро пропала из виду, будто растворилась в мутном потоке.

В эту ночь Богдан Васильевич не зажигал огня и не ложился спать. Он неподвижно сидел у окна. Ссутулившись, сжав коленями бессильно опущенные руки, смотрел в черноту за оконным стеклом, слушал угрюмое ворчание дождя и думал о Луизе. Он хотел думать о чем-нибудь другом, о чем угодно, только бы не о жене. И не мог.

Где-то там, в переполненном поезде, летящем сквозь мрак осенней, слякотной ночи, была его Луиза. Сильная женщина. Даже не заплакала. И ни упрека, ни жалобы. А ведь она без памяти любила сына. Да и его, мужа, любила. Все оставила. Перечеркнула всю жизнь. И ни одного слова.

Ветер и дождь заунывно шумели на улице. Под их напором зябко дрожали оконные стекла. Шамову было неуютно и тоскливо. Пожалуй, именно в эту ночь он впервые в жизни понял, что такое одиночество. Понял не умом—сердцем. Всем своим существом, каждой клеточкой ощущал он ледяное прикосновение пустоты.

«А как же иначе, как? — убеждал он себя. — Сохранить жену и потерять остальное. Кто тогда доверит мне партийную работу? И вот я уже, как все. И никому нет никакого дела до моих способностей и ума. Им наплевать, что я всю жизнь учился, прочитал сотни книг, исписал тонну бумаги. Отказывал себе в отдыхе, стеснял в развлечениях. На двадцать шестое июня была назначена защита моей диссертации. Если бы не война, я бы преподавал в Московском вузе... Да, если бы... А пока только райком. Я уже вошел в обойму. Передовицу в газету — Шамов, тезисы докладчикам — Шамов, лекцию о международном положении опять Шамов. Даже тексты лозунгов не могут без Шамова сочинить. И это хорошо. Я стал ведущей шестеренкой. А ее трудно заменять, да еще на ходу, не останавливая машины. Потому они и снисходительны к моей астме и радикулиту. И никаких перекомиссий... Время бежит. Придет конец и войне... А пока только так. Больно, тяжело, но что же делать? Война никого не щадит. И незачем мучить себя. Все верно. Только так».

Богдан Васильевич бессильно пристукнул кулаком по колену. Хотел подняться, зажечь лампу, разогнать, развеять окутавший его мрак. Да что-то мешало ему распрямить-

ся и не было сил скинуть гнетущую тяжесть с плеч. Прижался горячим лбом к оконному переплету, взгляделся в ночь. Ничего не видно. Беспросветная тьма, за окном и в душе.

«Куда она уехала? Родных — никого. Друзей расшвыряла война. И такое столпотворение вокруг... Как все это нелепо. Гадко. А ведь считал себя порядочным, интеллигентным человеком. Жалко Луизу. Бедняжка. Она совсем не при чем. А кто при чем? Из-за одной гибнуть троим? Она— женщина практичная и не урод. Устроится, переболеет... Хоть бы заплакала... Обиделась. Еще бы, двадцать лет и... Подло все. Конечно, подло. Но как иначе?»

— Как иначе? — повторил он вслух.

Прислушался к тишине пустой квартиры и закричал изо всех сил:

— Как иначе?

Снова прислушался.

— Молчишь? — Погрозил кулаком в темноту. — Я и сам знаю, что подло. Без нее нам будет очень плохо...

Осекся. Спазма перехватила голос. Шамов изо всех сил напрягся, норовя проглотить комок слез и не смог. Тогда он принялся торопливо свертывать папиросу. А та, как на грех, никак не заклеивалась. Богдан Васильевич злобно выругался, всхлипнул, швырнул измусоленную папиросу и принялся скручивать другую.

Ох, как медленно тащилась эта ночь. Шамов вспоминал пережитое, силился заглянуть в будущее и, в зависимости от того, куда он смотрел, менялось и его отношение к случившемуся. Он то жестоко казнил себя, то оправдывал.

На подоконнике выросла целая гора окурков. У Шамова отекли ноги, ломило поясницу. Каждый удар сердца больно отдавался в висках. А он все сидел, с угрюмым напряжением вглядывался в темноту и ждал рассвета. Он верил, что утро принесет облегчение и все страшное останется позади.

И вот желанный рассвет наступил. Он входил в комнату робко и медленно, будто чего-то боясь. Темнота постепенно разреживалась, отползала от окон, жалась к углам.

Шамов резко выпрямился, встал. Несколько минут стоял, будто окаменев. Так стоит человек у дорогой могилы перед тем, как уйти от нее навсегда.

— Теперь все, — сильным голосом проговорил он. Откашлялся и твердо, как приказ, повторил: — Все. И больше

к этому не возвращаться. Надо жить. Надо подумать о сыне.

И Богдан Васильевич стал думать. Подметал полы, умывался, брился, кипятил чай, а сам все думал и думал о сыне.

Вадим уже мужчина. Недавно ему пошел восемнадцатый год. Он унаследовал от матери цепкую наблюдательность и удивительно тонкую, порой необъяснимую, проницательность. С ним будет нелегко объясниться...

2

Вечером, возвращаясь с работы, Богдан Васильевич еще издали заметил огонь в окнах своей квартиры. «Неужели вернулась Луиза? — с ужасом подумал он и почувствовал легкий озноб. — Вчера отправили в обком мое личное дело. Я написал, что одинок, живу с сыном. Был женат, разошелся. Пришлось солгать секретарю райкома, сказав, что давно уже не живем с женой. Она заезжала повидаться с сыном да приболела и задержалась... Как она посмела вернуться?»

Шамов зло толкнул дверь в комнату.

У стола, запустив пятерню в пышные пепельные кудри, сидел Вадим. Он вздрогнул от дверного стука, схватил со стола листок и проворно сунул его под скатерть.

— Здравствуй, Вадим, — как можно мягче проговорил Богдан Васильевич.

Сын не отозвался. Он даже не пошевелился, не взглянул на отца. А тот, прикинувшись, что ничего не заметил, спросил тем же голосом:

— Давно приехал?

И опять сын не проронил ни слова. Теперь уже нельзя было делать вид, что не замечаешь его молчания. Богдан Васильевич подошел к столу.

— Ты почему не разговариваешь со мной? Что-нибудь случилось?

— Где мама? — Вадим поднял на отца налитые слезами васильковые глаза.

— Что за бумагу ты сунул под скатерть?

Юпоша прижал локтем место, где под скатертью лежал листок.

— Куда уехала мама?

— Я тебя спрашиваю, что ты там прячешь?—повысил голос Богдан Васильевич. — Будь добр, сначала ответь, а потом задавай вопросы.

Вадим угрюмо молчал.

— Я спрашиваю, — еще громче и строже проговорил Шамов и пристукинул по столу большим костлявым кулаком.

Сын медленно, словно нехотя встал. Высокий, худой, узкоплечий. Несколько мгновений, не мигая, они смотрели друг другу в глаза. Бледные губы юноши задрожали, и он с трудом выговорил:

— Это письмо от мамы.

— Дай сюда.

Вадим не шевельнулся.

— Дай сейчас же. Ну?

Вадим не спеша извлек из-под скатерти бумагу и передал отцу. Шамов пробежал письмо глазами.

«Милый Вадя, сынок.

Обстоятельства сложились так, что мы должны расстаться. Надолго, а может быть, и навсегда. Я не могу объяснить истинную причину случившегося, а лгать — не хочу. Спроси у отца.

Родной мой! Учись прилежно, слушайся папу и помогай ему.

Надеюсь, ты меня не забудешь.

Обнимаю и благословляю тебя.

Крепко целую.

Мама».

«Когда она успела написать и куда-то подсунуть это», — неприязненно подумал он, пряча от сына лицо за листком бумаги.

Возвращая письмо, твердо выговорил:

— Она уехала. Не знаю куда. Почему? Мне трудно ответить на этот вопрос. Сейчас ты ничего не поймешь. Через несколько лет, когда вырастешь...

— Я не маленький.

— По летам и по росту — да. Но есть вещи, которые сейчас твоему уму непосильны. Со временем ты научишься разбираться в жизни.

— Я хочу знать правду.—Вадим упрямо нагнул голову, словно готовился боднуть отца.

— Я тебя не обманываю, — голос Шамова зазвенел. — Мне не известна причина ее бегства. Я был потрясен этим

не меньше тебя. Кончим этот разговор и больше не будем к нему возвращаться. Он неприятен мне. Очень...

— Но почему мама пишет, что не хочет лгать и велит спросить тебя? Ты знаешь. Ты все знаешь. Думаешь, я не пойму? Пойму. Только скажи правду...

— Ты кажется не веришь мне?

— Да.

Широко раскрытые Луизины глаза смотрели на Шамова не мигая. Богдан Васильевич понял — если он сейчас ударит сына или даже грубо накричит на него, тот уйдет из дому навсегда — и превозмог себя, сказал с горечью:

— Ты меня обижаешь, Вадик.

Сгорбился, опустил голову, ушел в коридор раздеваться.

Через несколько минут вернулся. Вадим стоял на прежнем месте и в той же позе.

— Почему ты не позвал меня? Я бы приехал.

— Она уехала неожиданно. Не мучай меня. Твои вопросы причиняют мне страдания.

Шамов устало опустил на стул. Прикрыл глаза покрасневшими веками, одел скорбную маску на лицо и долго сидел не шевелясь. Он думал: сын подойдет к нему, приласкается, пожалеет, и они вдвоем молча погрузятся. Но Вадим, даже не взглянув на отца, ушел в кухню и там, прижавшись лбом к посудному шкафу, не сдержался, заплакал.

«Это все он, — думал Вадим об отце, смахивая слезы со щек. — Мама не могла бросить меня. Она бы сама никогда не уехала. Но почему?»

Вопрос оказался для него непосильным.

Всю жизнь, сколько помнил себя Вадим, его родители жили дружно; в их маленькой семье никогда не было ссор. И вдруг она раскололась, словно грецкий орех под молотком. С одного удара. И удар этот — Вадим угадывал — нанес отец. Вообще за несколько последних месяцев отец стал неузнаваем. От его былой властности и самоуверенности не осталось и следа. Даже голос изменился, сделался каким-то блеклым, монотонным. А совсем недавно он был упругим и сочным, с широчайшим диапазоном...

В первые дни войны, когда Вадим вместе с друзьями сутками пропадал в военкомате, норовя попасть в ополчение, отец ходил по больницам, куда-то звонил, кого-то просил, собирал всевозможные справки и характеристики. Потом они уехали из Москвы. Ни с кем не попрощавшись,

ночью. Приготовления к отъезду велись втайне от Вадима, иначе бы он убежал из дому и ушел с какой-нибудь воинской частью, их тогда в Москве было несметное количество.

На новом месте Вадим скоро обзавелся друзьями. У всех ребят его возраста тогда была одна мечта — попасть на фронт. Десятиклассники Малышенской средней школы решили после окончания учебы сразу же поступить в артиллерийское училище. Вадим люто ненавидел фашистов, страстно желал Красной Армии скорейшей победы, и все же лелеял надежду, что война чуть-чуть затянется и ему доведется повоевать. А пока он усердно занимался военным делом, запоем читал книги о войне и гордился, что всеведущие девчонки, прознав о его желании, стали звать его Вадькартиллерист.

С первых минут сознательной жизни Вадима мать была для него другом-сверстником, учителем и судьей. Где бы ни был Вадим, чем бы ни занимался, он всегда чувствовал — рядом мать. Стоило только захотеть и можно дотронуться до ее маленькой, легкой руки, попросить совета. «Делай, как знаешь, Вадик, — отвечала обычно она. — Я бы на твоём месте поступила вот так. А ты смотри сам». Он всегда делал так, как бы поступила она, и всегда получалось хорошо и правильно.

У него никогда не было тайн от матери. Он делился с ней самыми сокровенными мыслями. Она знала о его первых мальчишеских увлечениях, о горьких и сладких минутах пылкой юношеской любви. В разговорах с матерью Вадим изливал все, что накопилось у него на душе. После такого разговора наступало сладкое успокоение. Очищенная от тревог и сомнений душа, становилась тоньше, чувствительней.

Вадим ни разу даже не помыслил о возможном расставании с матерью: она казалась ему вечной, как сама жизнь.

И вдруг матери не стало. Она ушла неведомо куда. Не предупредив, не попрощавшись, не оставив никаких следов. И сразу мир поблек, потускнел. Вокруг Вадима сгустились непроницаемые и вязкие сумерки. Ослепленный горем, юноша наощупь блуждал по ним, ушибаясь и раня себя.

С утра он уходил из дому и до темноты бродил под дождем, по непролазной грязи. Иногда, выбившись из сил, забирался в недостроенный дом или заброшенный сарай и подолгу неподвижно сидел, глядя перед собой пустыми глаза-

ми. Ему хотелось тогда тяжело заболеть или попасть в какую-нибудь страшную беду.

В одну из таких минут к нему пришла мать. Она неслышно вошла и встала перед ним, прижав к груди маленькие кулачки. Вадим задохнулся от волнения. «Ма»...— начал он и не смог договорить. Рванулся, чтобы встать, но она сделала предостерегающий жест. «Сиди, Вадик, сиди. Ты меня огорчил, сынок. К чему такое отчаяние? Мы ведь расстались не навсегда. Мы скоро встретимся. И я хочу видеть тебя таким, как прежде, как всегда. Ты понял меня, сынок?»

«Понял, — прошептал он, глотая слезы, — понял, мамочка». «Умница. Ты всегда у меня был умницей». Она проворно склонилась над ним, поцеловала в лоб и растворилась в воздухе.

Ткнувшись лицом в колени, Вадим плакал навзрыд.

Эту ночь он почти до рассвета просидел над книгами: надо было наверстывать упущенное в учебе.

С тех пор Вадьку-артиллериста словно подменили. Он стал угрюмым, неразговорчивым. Губы всегда плотно сжаты. Брови нахмурены. После уроков не задерживался в школе, спешил домой. На его плечах лежало все домашнее хозяйство. Он мыл полы, варил немудреные обеды, ходил на базар и в магазин. И все эти дни его не покидало волнующее чувство ожидания. Юноша был уверен, что не сегодня, так завтра мать вернется домой или позовет его к себе.

Всякий раз, заметив входящую во двор почтальоншу, Вадим бежал ей навстречу. Принимая из ее рук газету, не сдерживался, спрашивал: «А письма нет?» Мать не подавала о себе никаких вестей.

Правда, несколько месяцев спустя, о ней пришла весточка, но то письмо было адресовано лично Богдану Васильевичу и на райком партии.

Шамов долго недоуменно вертел в руках серый конверт. Небрежно вскрыл его. Вынул лист бумаги и прочел:

«Уважаемый тов. Шамов Б. В.

С глубокой скорбью сообщаем вам, что ваша жена Шамова Л. И. скоростижно скончалась от паралича сердца».

Дальше сообщалось, где она похоронена и следовало заверение, что его горе разделяет весь коллектив эвакогоспиталя № 2261, в котором Шамова работала санитаркой. Под извещением — подпись главврача и госпитальная печать.

Богдан Васильевич прочел письмо дважды. Потер длин-

попалой рукой пергаментный череп, глубоко вздохнул и с неподдельной скорбью обронил:

— Ах, Луиза, Луиза. Прости меня.

Поразмыслив о случившемся, решил не говорить об этом Вадиму. Письмо спрятал в потайной уголок сейфа, где хранились личные документы. Заперев сейф, облегченно вздохнул. Как ни прискорбно все происшедшее, но нет худа без добра. Теперь нечего бояться никаких «а вдруг». Да и холостяцкий образ жизни изрядно надоел Шамову. Он был избалован повседневным вниманием и мягкой, не назойливой заботой жены. Прежде Богдан Васильевич никогда не вникал в домашнее хозяйство. Он отдавал Луизе зарплату, нимало не интересуясь, хватает ли ей этих денег на жизнь. Да, откровенно говоря, Луиза никогда не давала повода к подобным раздумьям. Они всегда жили в достатке, питались хорошо и прилично одевались. Теперь же Богдану Васильевичу приходилось ломать голову над разными житейскими мелочами. Они раздражали его. И он уже не раз подумывал над тем, чтобы обзавестись хозяйкой в доме и хозяйством во дворе. Однако до печального известия о смерти жены он не решался на такой шаг.

3

Как-то субботним вечером Шамов был дома один. Вадим с друзьями-десятиклассниками ушел в лыжный агитпоход по колхозам района.

Богдан Васильевич затопил печку и не спеша подметал пол. В дверь постучали.

— Да, — крикнул он и выпрямился, не выпуская веника из рук.

Вошла помощница секретаря райкома партии Валя Кораблева — неулыбчивая девушка с усталым взглядом и пушистыми светлыми бровями. Поздоровалась, извинилась, подала стопку листов.

— Машинистка только что допечатала. Я занесла по пути.

— Спасибо, Валечка. Вы очень внимательны и добры ко мне.

— Пустяки, — отмахнулась девушка.

— А я вот видите, чем занят, — Шамов показал веник. — Холостяцкий образ жизни.

— Давайте я помогу вам, — предложила Валя.

— Ну что вы. Сегодня суббота, в клубе танцы, и вас, наверное, ждет поклонник.

— Какие сейчас поклонники, — с глубоким вздохом возразила она, снимая пальто.

Она была крупная, полная, но проворная. Все делала добротнo и скоро. Вымыла полы, протерла мебель, прибрала разбросанные повсюду книги. И квартира сразу стала другой — праздничной и светлой.

Богдан Васильевич искоса наблюдал за девушкой. Его приятно удивила ее легкость и проворство. «Молодая, здоровая, — думал он, — любую гору свернет».

Закончив уборку, она собралась уходить.

— Нет, нет, — запротестовал он. — Сначала попьем чаю. Уж раз вы взялись помогать старику, так несите этот крест до конца. Садитесь.

Валя слабо отнекивалась. Он взял ее за руку.

— Какие у вас мягкие, нежные руки. И такие умные. Не пугаются никакой работы. Золотые. — И он неожиданно поцеловал ей запястье. Девушка окончательно растерялась, не зная, как себя вести.

А Богдан Васильевич, сделав вид, что не замечает ее растерянности, усадил девушку к столу, подал чашку чаю, пододвинул вазочку с мелко наколотыми кусочками сахара.

— Пейте, Валюша. Хоть это и не цейлонский чай, а душу согревает. С холодной душой человеку трудно живется. Он сам зябнет и других не согревает...

Валя, обжигаясь, пила горячий чай. Богдан Васильевич смотрел на нее и без умолку говорил. Говорил самозабвенно, с упоением, чувствуя от этого облегчение на душе. Будто вдруг сняли невидимый предохранитель, долгие месяцы сдерживавший его красноречие, и оно зафонтанировало.

— Жизнь, Валечка, сложная вещь. В ней много противоречий, неожиданных поворотов и даже глухих тупиков. Да-да. Я не боюсь этого слова, хотя и являюсь страстным приверженцем материалистического миропонимания. Помню, однажды, когда я учился в Москве, в институте красной профессуры, был у меня один хороший приятель...

И, не жалея красок, он пространно поведал ей о неудавшейся трагической любви своего приятеля.

Девушка слушала, боясь шелохнуться. Он говорил красиво и интересно. А главное, он обращался к ней, как к равной и даже ухаживал.

То ли от того, что в комнате было жарко, то ли от горячего чаю — кто знает — только Валя вдруг почувствовала вязкую и приятную слабость в теле.

«Все говорят он — сухарь, зазнайка, — вяло думала она, — а он совсем другой. Просто он очень умный, образованный и обходительный. Он и в райкоме так же. Всех на вы. «Пожалуйста» да «спасибо». Не то что другие»...

— Война, Валечка, — говорил Шамов, — пробудила и взрастила в людях не только чувство патриотизма, она оживила в человеке задавленные цивилизацией грубые, животные инстинкты. И хотя мы всячески сдерживаем их, они нет-нет да и прорвутся наружу. Война нам несет не только большие человеческие жертвы, не только громадные материальные потери, она наносит тяжелый удар по нашим моральным устоям. И с этой тенденцией нельзя не считаться, ей надо противостоять уже сейчас...

Он встал, медленно прошелся по комнате. Взял с этажерки книгу.

— Вот послушайте, что пишет об этом Толстой.

Она слушала. Потом Шамов на память прочувствованно читал ей какие-то хорошие стихи. А когда Богдан Васильевич умолк, она улыбнулась и, не пряча восхищения, сказала:

— Как красиво вы говорите. Так бы и слушала...

— Это вы, Валюша, вдохновили меня. Вы такая нежная и отзывчивая. Рядом с вами нельзя быть сухим и равнодушным.

Лицо девушки зарумянилось. А он снова взял ее руку и, поглаживая, приглушенно заговорил:

— Вы измучились, Валечка. Вам бы отдохнуть. Такая дикая, изнурительная работа не украшает женщину. Видите, у вас появились преждевременные морщинки возле глаз. Это от переутомления. Надо себя беречь.

Под его ласковым взглядом она млела и мякла, как воск под горячим дыханием.

Решив, что пора уходить, Валя поднялась со стула. Он помог ей одеться. Подавая госте пуховый платок, Богдан Васильевич опять заговорил о тяготах холостяцкой жизни.

— Вот завтра придется овладевать процессом производства борщей. Вместо того, чтобы посидеть с книгой, подумать над важными вопросами, я должен ломать голову над тем, как порезать свеклу...

— Хотите, я завтра приду и сварю вам борщ?

— О, вы очень добры. Я этого не заслужил. Ну, улыбнитесь же, улыбнитесь еще раз. Вас украшает улыбка. У вас чудные нецелованные губы и великолепные зубы. Не смущайтесь. Я говорю правду. Будь я на десяток лет помоложе — ей богу не стал бы мучить себя. Я просто бы пошел и поцеловал вас. Вот так...

И поцеловал ее.

Девушка, не помня себя, выбежала на улицу.

Богдан Васильевич прислонился спиной к дверной прилолке и потянулся всеми суставами. Его продолговатое лицо светилось сытым довольством. Сейчас он был доволен и собой, и жизнью, и неожиданно закончившейся встречей с Валей Кораблевой. Само собой все складывалось как нельзя лучше. Не зря бабка все время твердила ему: «Ты, Богдан, родился под счастливой звездой».

Когда Богдан начал сознавать себя, бабка была уже совсем старенькая. Без посошка не могла и комнату перейти. Она звала его вертопрахом. Он и в самом деле был неугомонным задирой и проказником. Но за все его проделки наказывали старшего брата Олега. Набедокурив, Богдан спешил спрятаться. Олег считал это трусостью. Вот ему и перепало за свои и чужие грехи.

Олег был рыцарем по натуре. Он никогда не мстил Богдану. И тот пользовался этим, сваливая на брата свои грехи. Олег и это терпел. Он был терпелив. Только однажды, когда Богдан не приехал на похороны бабушки, брат взорвался, назвал Богдана свиньей и дал ему пощечину.

В начале тридцать седьмого институтский приятель ошаршил Богдана известием. «Олега на днях арестуют, — сказал он. — За антисоветскую пропаганду по заданию иностранной разведки. Думай, пока не поздно». А что думать? И так все ясно. Арестуют брата, значит, прощайся с партбилетом и с институтом красной профессуры, а может, и со свободой. Богдан метался, как мышь в мышеловке, пока тот же приятель не подсказал ему выход. Чудовищный, но единственный. Предвосхищая события, Богдан написал на брата донос.

Они встретились через неделю в одной из комнат громадного здания, облицованного гранитом. Очная ставка была короткой. Выслушав заранее отрепетированную речь Богдана, брат сказал: «Жалею, что не задушил тебя, гаденыша, тридцать лет назад». И все. И больше ни слова, сколько ни наседали на него следователь.

Мать не отказалась от Олега, и ее сослали. Богдан отрекся и от матери.

Видимо, все это учли, назначив его первым секретарем подмосковного райкома партии. И если бы...

— Если бы, — пробормотал Богдан Васильевич, вырываясь из цепких лап воспоминаний. Они всегда приходили не к стати. Ну кто их звал сейчас? Ему было так хорошо и на тебе, притащились, напустили мраку. Вот так всегда. Неужели это никогда не забудется и станет вечно отравлять ему жизнь? Хорошо еще вовремя опомнился. А то бы приплелась и Луиза с ее глазищами. К черту всех. Он живет не для них, для себя. И пусть не болтаются у него под ногами тени этих мертвецов. Он не из пугливых. И назло им Шамов улыбнулся и заставил себя думать о девушке с пушистыми бровями, которая только что была здесь в его объятиях.

4

Валя долго кружила по пустынным, тихим улочкам поселка и все никак не могла разобраться в случившемся. Ей льстило внимание и откровенное поклонение этого человека. Правда он, наверное, вдвое старше ее, но разве это беда? Не старик же?

Как-то так случилось, что, прожив на земле двадцать два года, Валя не познала еще любви. Был парень, с которым она ходила на танцы и в кино, а любви не было. Теперь и он, и другие парни воюют. А время идет. В беспросветной работе, суете, телефонных звонках и заседаниях проходят дни. Даже в кино сходить некогда. А годы летят. И все чаще навешают ее грустные думы о своей жизни... «А может, он поиграться захотел, развлечься. Скучно ему без жены, вот и заливается соловьем. Ничего, мол, война все спишет. Ошибся. Не на такую напал. Не нужны мне твои красивые слова»...

Вот так и шарахалась она из стороны в сторону.

— Валя, Валя! — послышался окрик сзади.

Кораблева оглянулась. К ней торопливо подходил комсомольский секретарь Степан Синельников.

— Здорово, — он подал девушке руку. — Кричу, кричу тебя, а ты и ухом не ведешь. Размечталась?

— Размечталась, — она виновато улыбнулась. — Ты что?

— Завтра в семь тридцать с двадцать пятым к нам приезжает сто четырнадцать детишек, потерявших родителей. Мы оба в комиссии. Встретить, устроить, разместить. Ясно? Я тебе звонил и заходил. Решил уже исключить тебя из состава, а ты появилась.

— Куда же мы их будем размещать? — с трудом отделяваясь от прежних мыслей, спросила она первое, что пришло в голову.

— Ясно куда. По детдомам, интернатам. С ними уже договорились. Их представители будут на вокзале. Так что вставай пораньше. Полседьмого быть на месте. Условились?

— Ладно.

— Пока. Я еще к Тимчуку забегу, договарюсь, чтоб к приходу поезда освободили зал ожидания.

Степан сбил на затылок малахай, помахал рукой и ушел...

Чтобы не проспать, Валя завела будильник на шесть и все же несколько раз просыпалась ночью, смотрела на часы, а потом подолгу ворочалась: мешали уснуть все те же мысли.

В половине седьмого она вышла на улицу. Было белесое морозное утро. Звезды еще не померкли, и луна чувствовала себя полновластной хозяйкой неба.

А поселок уже проснулся. Светились окна, дымили трубы. В войну хозяйки просыпались рано. Нужно было много времени, изобретательности и труда, чтобы приготовить на день еду для семьи. Попробуй-ка из нескольких картофелин свари завтрак, обед и ужин на пять-шесть ненасытных ребячьих ртов. Об этом думали, просыпаясь от голода по ночам, а чуть свет принимались за стряпню.

Валя зябко поежилась, одернула стеганую плюшевую куртку, потуже обернула вокруг шеи вязаный пуховый платок и легкой, летящей походкой заскользила по скрипучему, будто посеребренному снежку.

На полпути к вокзалу она нагнала двух женщин в полушубках с заиндевелыми воротниками. Они везли за собой саночки с какими-то свертками. Потом люди стали встречаться чаще, а у вокзального крыльца она лицом к лицу столкнулась с соседом-пчеловодом Донатом Андреевичем Ермаковым. Валя почтительно поздоровалась с ним и, на минуту задержавшись, спросила:

— Встречаете кого-нибудь?

— А как же, — не спеша ответил Донат Андреевич. — И не кого-нибудь, а дочку.

— А-а, — протянула Валя и прошла мимо. Уже поднимаясь на крыльцо, вдруг вспомнила, что у Ермаковых нет никакой дочери. Улыбнулась: «Чудит старик».

Поезд опаздывал почти на час. В пустом, пропахшем карболовкой зале ожидания сидели Синельников, Кораблева, заведующая районо и представители двух детдомов. Лица у всех серые, утомленные, под глазами фиолетовые круги. Говорили о трудностях с одеждой и топливом, о перебоях с продуктами.

— Нынче мы не голодаем. Картошки и овощей — досыта, — похвалилась пожилая женщина в солдатской шапке-ушанке.

— Неужто потребсоюз завез?

— Дождись. Он сначала картошку поморозит, а потом детдома предлагает.

— Свою вырастили?

— Куда там! У нас в основном малыши. Много с ними вырастишь?

— Откуда же овощи?

— Ладно уж, поделюсь опытом, — женщина в ушанке улыбнулась. — Осенью мы создали заготовительную бригаду и поехали по окрестным деревням. Приезжаем, собираем народ. Поднимается на телегу девчужка и говорит: — «В нашем детдоме живут эвакуированные дети-сироты. Их обездолила война. Скоро зима, а у нас нет овощей. Помогите, товарищи». И знаете, не остается ни одного дома, из которого нам не принесли бы хоть ведро картошки, моркови или других овощей. Так за полторы недели центнеров полтора ста насобирали. Рабочие МТС построили нам овощехранилище. Вот мы и зимуем припеваючи. Хоть иногда и без хлеба, зато с картошкой. Напечем картофельных оладьев, напарим морковки да свеклы и никакой голод не страшен.

— Странный народ сибиряки, — по-московски нажимая на «а» заговорила представительница другого детдома. — С первого взгляда вроде бы и суровы, и не приветливы, а приглядишься поближе, повнимательнее — мягкие, добросердечные люди. Последней картофелиной поделятся. А уж для детей...

Приоткрылась дверь. В щель просунулась голова в фуражке с красным околышем. Крикнула: «Прибывает!» — и исчезла.

К вокзалу, окутанный паром и дымом, подходил поезд. Перрон запрудила толпа. Сквозь нее с большим трудом удалось провести и пронести приехавших детей.

Их рассадили по лавкам в холодном зале ожидания, несколько раз пересчитали и стали делить по детдомам и интернатам.

Тут с протяжным скрипом приоткрылась тяжелая дверь. В щель бочком просунулся Ермаков, следом вошли его жена и еще несколько женщин.

— Товарищи! — сердито прикрикнул на них Степан. — Куда лезете? Не видите, дети? Сейчас отправим их, тогда пожалуйста...

— Погоди, — отмахнулся Ермаков, — не шуми, — и медленно двинулся по залу, вглядываясь в худые, изможденные лица детишек. Некоторые из них спали на лавках, другие, сгрудившись в кучи, о чем-то вполголоса разговаривали, безразлично глядя на незнакомых людей. В ребячьих глазах — усталость, тупое недоумение и уныние. Многие не раз побывали под бомбежкой, голодали и мерзли, мотались по детприемникам и больницам, пока, наконец, судьба не забросила их сюда.

Вот Ермаков остановился перед девочкой лет трех, а может и меньше: горе старит всех — и взрослых, и детей. На ней драное пальтишко, стоптанные худые ботиночки и неопределенного цвета капор с помпончиком на макушке. Лицо у девчурки серое, маленький носик смешно вздернут, глаза большие и черные, как сливы. Она с интересом смотрела на незнакомого дядю. А тот вдруг поспешно снял шапку, присел перед ней на корточки и ласково сказал дрожащим голосом:

— Здравствуй, доченька!

По лицу девчушки побежали тени, в глазах засветилось любопытство. Разлепив спекшиеся, потрескавшиеся губы, она тонюсеньким голоском протянула:

— А меня Леной звать.

— Знаю, Леночка, знаю. Разве ты не узнаешь меня? Я ведь твой папа.

— Папа? — в черных глазах-сливах — недоверие, изумление и радость. В глазах Доната Андреевича слезы и боль. — А мой папа погиб и мама тоже.

— Неправда, — с трудом выговорил дрожащими губами Ермаков. — Жив я и мама жива. Вот она, смотри, — и показал на подошедшую жену.

— Мама! — зазвенел в притихшем зале пронзительный крик.

И вот уже черноглазая девчурка на руках Ермаковой. Та прижимала хрупкое тельце к себе и, плача, приговаривала:

— Хорошая моя. Доченька. Леночка. Пойдем домой. Пойдем, голубушка. Пойдем, касатка.

— Домой! Домой! — закричала Леночка. — Хочу домой!

Женщина унесла девочку, а Донат Андреевич остался возле ошеломленных членов комиссии по приему и распределению детей. Он смущенно помял в руках свою шапку, переступил с ноги на ногу и, наконец, просительно заговорил:

— Не знаю, как все это оформлять, только думаю оформить и потом можно, а пока запиши эту девчушку на мою фамилию. Лена Ермакова. Будет у нас со старухой на старости лет дочка. Спасибо и до свидания. Заходите, всегда рады.

Он ушел, а на его месте уже стояла женщина, держа за руку мальчика.

— Запишите. Камил. Коля по-нашему. Николай Шестаков.

Около Кораблевой остановилась женщина с ребенком на руках. Ласково глядя малыша по головке, она вполголоса ворковала ему в самое ухо:

— Сейчас посажу тебя на саночки и покачу. Только ветер засвистит. Ты любишь кататься на санках?

«Так вот куда спешили эти женщины», — подумала Валя. А у распахнутых настежь дверей гудели голоса:

— Куда ты нахрапом прешь?

— Мне к девяти на работу. Рада бы постоять, почесать язык с вами, да недосуг.

— Ишь, какая занятая!

— А ты куда, Кузовкина? У тебя же своих два мальчика.

— И эти не чужие.

— Тяжело будет.

— А кому легко? Слава богу, картошка, молоко свои. Выходим, вырастим, а там...

— Он помашет тебе ручкой: — до свидания, мама, — и улетит в родные края.

— С богом. Пускай летит, лишь бы крылья были надежные..

Поглядеть на нее со стороны — не идет, летит девушка: так легка и стремительна была ее походка. Плечи развернуты, голова гордо вскинута. На пушистом, выпавшем ночью снежке, четко печаталась ровная стежка маленьких следов. Тугие щеки накалил мороз. Подернувшись инеем, посеребрела выбившаяся из-под платка витая прядка волос.

Солнце назойливо заглядывало Вере в глаза. Она довольно шурилась и улыбалась. Сегодня ее радовало все, и стерильно чистый, аппетитно хрустящий под валенками снежок, и нежная просинь неба над головой, и задиристый колючий морозец, и все-все, мимо чего столько раз проходила равнодушно.

Бывает беспричинная грусть, бывает и беспричинная радость. Да и почему бы не радоваться жизни человеку, если он молод, здоров и красив. И Веру ни на минуту не покидало удивительное ощущение легкости и окрыленности.

Правда, хорошее Верино настроение имело все-таки и конкретную причину. Сегодня она была именинница. Двадцать лет исполнилось. По такому случаю мать напекла ржаных пирогов, сварила бражку. Вечером придут подружки. Должен вот-вот подъехать Синельников, будет проверять, как они корма расходуют. Она и его пригласит на вечеринку. Получится очень здорово. Степан хороший гармонист и симпатичный парень. С ним всегда весело. Правда, у нее есть муж. Он ушел на войну зимой сорок первого. Но они так мало прожили вместе и так давно расстались, что Вере порой казалось, будто у нее и не было никакого замужества, а все это только пригрезилось. И она откровенно радовалась предстоящей встрече с Синельниковым.

Она не забыла его неожиданный поцелуй у ворот дома. А как он смутился тогда. Ей даже стало жаль парня. Тоже орел — поцеловал девушку и перепугался...

Вера тихонько засмеялась и прибавила шаг.

Вот и сельсовет. Над широким крыльцом с навесом шуршит на ветерке полинялый флаг. С обеих сторон крыльца — высокие сугробы. Вера голиком обмела валенки, поправила пуховый платок, с силой толкнула тяжелую дверь.

Председатель сельсовета встретил ее у порога. Пожал руку, сказал наигранно весело:

— Привет комсомольскому вожаку. Проходи, товарищ Садовщикова. Мы всегда рады таким гостям.

В кабинете оказался незнакомый лейтенант с орденом Красной Звезды на кителе. Здороваясь с Верой, он так пристально посмотрел ей в глаза, что она смутилась, нервно передернула плечами, потупилась.

Колючий, испытующий взгляд лейтенанта, фальшивая веселость председателя насторожили Веру. Лицо ее стало серьезным, пожалуй, даже строгим. Искорки-смешинки потухли в глазах. Они потемнели и сделались непроницаемыми.

Смутная тревога закралась в душу. А когда лейтенант ни с того ни с сего вдруг принялся расспрашивать ее о муже — она вовсе растерялась. В самом деле, какое ему дело до того, давно ли ей не пишет муж. Когда было последнее письмо от него и что в нем написано.

В другом месте и другому человеку Вера ни за что не стала бы отвечать на подобные вопросы. Сказала бы что-нибудь ядовитое, вроде «любопытство — не порок, а большое свинство» — и показала спину. А здесь незнакомому лейтенанту с недоверчивым взглядом отвечала. Хотя и сдержанно и скупое, а все-таки отвечала. Вера чувствовала: лейтенант выпрашивал ее совсем не из любопытства, а зачем — не знала. И это незнание глубоко волновало ее. «Что ему надо? Почему он так бесцеремонно допрашивает меня? Я не подсудимая. А как смотрит! Точно хочет уличить меня во лжи. Что-то случилось нехорошее. Что?» Напрягая мысль, силилась ответить на этот вопрос.

Вдруг обухом по голове страшная догадка: «Да это же Федин друг. Федя погиб, а он приехал и хочет подготовить меня, смягчить удар».

Мгновенно побледнели Верины щеки, полиняли губы, голубые глаза наполнились слезами. С трудом сдерживая рыдания, шепотом спросила:

— Он погиб?

Еле оторвала себя от скамьи. Негнущимися чугуными ногами прошаркала к столу. Вцепилась в уголок черной суконной скатерти. С трудом вытолкнула из сжатого спазмами горла:

— Что с ним?

Лейтенант поспешил к Вере. Взял ее за руку.

— Успокойтесь, пожалуйста. С вашим мужем ничего не случилось. Он жив, здоров. Понимаете? Жив и здоров. Про-

сто мы хотели поинтересоваться, пишет ли он домой. Это наш долг. Я работаю в военкомате. Вот мое удостоверение. Мы по всему району проверяем связи фронтовиков с семьями. Потому и вас пригласили. Пожалуйста, не волнуйтесь.

Он почти насильно усадил ее подле себя. Налил стакан воды. Подал ей и снова принялся извиняться, уверяя, что с Федором ничего не произошло.

Вера поглядела прямо в глаза лейтенанту. Он выдержал ее долгий испытующий взгляд. А вот председатель не выдержал, смутился, заерзал на месте, закашлялся. Она не поверила. Разве стали бы ее вызывать только ради того, чтобы поинтересоваться, пишет ли Федор. Убедив себя в том, что ее обманули, Вера почувствовала острую неприязнь и даже злобу к этим людям. Злоба-то и помогла ей преодолеть минутную слабость.

— Зачем вы скрываете от меня? Я не девочка, все вижу. И не бойтесь, обморока со мной не случится. Только скажите правду. Он погиб? Да?

— Даю честное офицерское, честное партийное слово, ваш муж жив. Теперь вы мне верите?

— Верю, — прошептала Вера. — Теперь верю. Я могу идти?

— Конечно, — председатель сделал рукой широкий жест.

Домой она шла медленно, нога за ногу. Снег противно скрипел, будто вскрикивал. Назойливо орали галки, кружа над головой. Солнце закуталось облаками. День померк. И на душе пасмурно. «Они что-то скрыли от меня. Может быть, Федя тяжело ранен. Ослеп? Без рук и ног? Лейтенант дал честное слово, что он жив. Ну да, он жив, но изувечен. Не просто ранен, а изувечен... Я читала о таких солдатах. Чтобы никому не быть в тягость, они скрываются от родных, Федя не верит, что я приму его. Лейтенант приезжал узнать. Почему же он не сказал об этом? Разве я не человек, разве у меня поднимется рука оттолкнуть искалеченного на войне мужа? Как нехорошо они думают обо мне. За что? Но я им докажу. Я докажу...»

Вера сходу повернулась и побежала назад. Она бежала изо всех сил, словно ее подгоняли.

В сельсовете была только сторожиха. Она испуганно посмотрела на запыхавшуюся Веру.

— Ты чего, девка?

— Где лейтенант?

— Военный-то? Только что уехал. И председатель с ним. В колхоз Жданова подались.

Вера бессильно опустила на скамью у порога.

2

Зазвонил телефон. Сторожиха приложила трубку к уху. Помолчала, послушала, потом тихонько кашлянула и вполголоса проговорила:

— Слушает сельсовет. Чего ты надрываешься? Не глухие. Ну? Да здесь она. — Серdito кинула трубку на подоконник. Подошла к Садовщиковой. — Иди, девка. Из правления тебя разыскивают. Да ты что уставилась, ровно ошалелая. Иди, говорю. Зовут тебя, к телефону.

— Меня? — Вера стряхнула оцепенение. Медленно поднялась. Нехотя подошла к телефону.

— Слушаю.

— Чего это ты от меня прячешься? — послышался насмешливый голос Синельникова. — Мы с Трофимом Максимовичем уже побыли на ферме. Посмотрели, поговорили. Молодцы, сдержали слово. Я и Василию Ивановичу успел позвонить, а тебя все нет. Домой к тебе посылали...

— Меня в сельсовет вызвали... по одному вопросу, — смущенно оправдывалась Вера. — Товарищ приезжал из района. Вот и задержалась. Извините уж...

— Ладно, извиню, если через пять минут будешь в правлении.

— Бегу, — выдохнула Вера и повесила трубку.

К правлению она направилась напрямик, по огородам. Еле выбралась из сугробов. Вошла запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Сняла платок, тряхнула коротко остриженными темно-русыми волосами. Синельников ласково поглядел на нее, озабоченно спросил:

— Что ты такая?

— Какая?

— Смурая. Не рада, что приехал?

— Ой, что вы? Это я запыхалась. Напрямки, по огородам бежала. Боялась, что уедете.

Голос у нее стал прежний: веселый и задорный, а в голубых глазах снова вспыхнули горячие искорки-смешинки.

— Куда же я уеду, не повидав тебя, — в тон ей шуточно проговорил Степан. — Молодец. Все в норме. И кормовой

рацион, и контрольный пост. Пойдем, посидим где-нибудь. Надо кой о чем поговорить с твоими активистами.

— Пошли в читальню.

— Мне все равно. Пошли туда.

Пока Степан обговаривал с членами комитета комсомола неотложные дела, в читальню на огонек собралось много колхозников. Тут была и молодежь, и пожилые люди, и несколько вездесущих стариков, без которых не обходится ни одно собрание.

Курили, вполголоса переговаривались о том, о сем, перекидывались немудрящими шутками.

Но вот, наконец, комитетчики отзаседали и не успел Степан свернуть папиросу, как к нему уже подсел бородастый старикан и без всяких предисловий попросил:

— Расскажи-ка, парень, что ныне на фронтах. Большие газеты до нас не доходят, а в своей районной много ль прочтешь? Да и ту почитать не дают проклятые табакуры, так и рвут из рук на закрутки.

— Можно рассказать, — охотно откликнулся Степан. Встал, одернул гимнастерку. Подошел к карте. Пригнулся к ней. Прищурившись, взгляделся. Ткнул пальцем. — Вот здесь Сталинград. Тут сейчас решается наша судьба. Гитлер изо всех сил старается захватить этот город, перейти Волгу и ударить нам в тыл. Не удалось взять Москвы в лоб, так хочет прыгнуть ей на спину. Фашисты ничего не жалеют. Ни людей, ни машин. На Сталинград наступали пятьдесят отборных дивизий. Самых отпетых головорезов согнал сюда фюрер. А сколько орудий, танков, самолетов. Многие тысячи. Поначалу фрицам удалось крепко потеснить наших. Шестьдесят вторую армию Чуйкова прижали к самой Волге. Прижать-то прижали, а сбросить в реку не смогли. Кишка тонка. Между прочим, главный удар приняла на себя наша сибирская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Гуртьева. Ох, и здорово же дрались сибиряки! Там все герои. И саперы, и разведчики, и медсестры, и связисты. Вот я расскажу об одном связисте-комсомольце...

И стал рассказывать о молодом связисте, который, будучи смертельно раненым, зажал в зубах концы обрыва и умер, восстановив, таким образом, связь.

Женщины всхлипывали, мужики глушили душевную боль табаком. А Степан в конце рассказа вдруг замолчал, потянувшись к стакану с водой. Медленно цедил теплую воду

сквозь зубы. Откашлялся. И снова заговорил. О медицинских сестрах, переправляющих раненых через пылающую Волгу. О моряках, которые со связками гранат кидались под фашистские танки.

— Так дрались бойцы дивизии Гуртьева. И выстояли. Гитлер не раз назначал сроки захвата Сталинграда. Писал приказы, бросал подкрепления, орал и неистовствовал. Не помогло. Пока фрицы бились лбами о волжскую твердыню, командование Красной Армии разработало план прорыва гитлеровского фронта и окружения немецких войск под Сталинградом. Блестящий план, невиданная в истории войны операция. Теперь посмотрите, как этот план был претворен в жизнь. Вот здесь...

Голос Степана властвовал в комнате. Движения его— порывистые, резкие.

Люди слушали, подавшись всем телом вперед. Они походили на спринтеров перед стартом. Казалось, вот сейчас прозвучит выстрел и они сорвутся с мест.

Степан и сам переживал душевный подъем. В нем все было напряжено до предела. В глазах бушевала страсть, и они из серо-зеленых стали почти черными. Впалые щеки покрылись пятнами горячечного румянца.

— Мы накануне великой победы! — Степан вскинул над головой худой, мословатый кулак, медленно опустил его. — Геббельсовская утка о непобедимости гитлеровской армии была подстрелена под Москвой, а добита под Сталинградом. Триста тысяч фашистских солдат, несметное количество боевой техники зажаты Красной Армией в стальное кольцо окружения. Крах врага неизбежен. Это будет крах всего фашизма...

Степан отошел от карты, опустился на стул и сразу почувствовал стремительный отлив сил. Тело становилось вялым и мысль уже не горела, а теплилась затухающим костром. Он полез было в карман за табаком, но к нему тотчас протянулось несколько рук с кисетами. Сворачивая папиросу, Степан устало спросил:

— Может, есть вопросы?

— А как же, — откликнулся стариковский голос. — Мне вот интересно, почему союзнички по сю пору второго фронта не открывают?

— Союзники наши—буржуи. Фашисты—тоже буржуи. И хотя они находятся в состоянии войны, но действуют по принципу: ворон ворону глаз не выклюнет.

— Эта верна-а.

— На их надейся, а сам не плошай.

— У нас вся надежда — свой кулак.

Поднялась чья-то рука в залатанном на локте ватнике.

— Правда ли, что фашисты из человеческой кожи делают портфели?

Степан ответил, а ему уже приготовили новый вопрос. И пошло.

— Куда девались коммунисты Германии? Почему их не слышно и не видно?

— Кончится в сорок третьем война или нет?

— Как поступить в школу разведчиков?

— Когда будет новый набор девушек в армию?

В конце концов Степан не выдержал и взмолился:

— Пощадите, товарищи!

Его пощадил и в девятом часу вечера стали расходиться по домам.

Вера и Степан вышли последними.

— Пока, комсорг. — Он протянул руку. — Пойду на конюшню, заложу своего рысака и двину домой.

— На ночь-то глядя?

— Я волков не боюсь.

— Лучше оставайтесь, переночуйте, а утречком пораньше выедете.

— Нет. Завтра с утра предстоит одно большое дело. Поеду.

Вера взяла его за рукав фуфайки и, вплотную придвинувшись к нему, попросила:

— Оставайтесь. Сегодня у меня день рождения. Двадцать стукнуло. Будет маленькая вечеринка. Подружки уже ушли ко мне. Идемте, сделаем им приятный сюрприз.

Степан задумался. Стоял, комкал в руках рукавицу. Вера нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Легонько дернула его за рукав.

— Ну? Пошли.

Он махнул рукой.

— Пошли.

3

Его появление вызвало веселый переполох среди Верных гостей. Пока Степан раздевался да умывался, пока девушки рассаживались вокруг стола, норовя угодить подле

желанного гостя, лупоглазая Дуняша сбегала за гармошкой.

Близоруко прищулив глаза, Степан оглядел праздничный стол, и у него неприятно засосало под ложечкой, а рот наполнился голодной вязкой слюной. Еще бы: он сегодня не ел с самого утра, а тут были и соленые грибы, и огурчики, и капуста, картофельные, творожные, морковные шанежки и пирожки. Посреди стола призывно возвышались графин с бражкой и бутылка самогону.

Степан прицелился глазом в румяный, картофельный пирожок, поднял вилку и потянулся было к поджаристому искусителю, да вовремя спохватился. Как-никак, а все-таки он в гостях. Надо иметь выдержку. Парень облизнулся, положил вилку на место и принялся подшучивать над девушками, которые, мешая друг другу, переставляли на столе тарелки и стопки. Они преувеличенно громко смеялись над его шутками, лукаво поглядывали на него, неумело острили. В комнате стоял галдеж, как на птичьем базаре.

И все-таки выдержки Степану хватило ненадолго. Видя, что хозяйка не торопится с началом ужина, он поманил ее пальцем и сказал так, чтобы слышали все:

— Послушай, Вера. Умоляю тебя. Не тяни. Мой истощенный организм больше не может ждать.

Девчата, как будто, только и ждали этих слов. Моментажно наполнили стопки, и Дуняша произнесла первый тост за здоровье именинницы.

Выпив стаканчик вонючей самогонки, Степан набросился на еду. В его тарелку со всех сторон подкладывали закуски, и она ни секунды не пустовала.

Пили за победу, за исполнение желаний, за дружбу.

— Фу, — Степан отодвинул тарелку, положил вилку на стол. — Кажется, жизненные силы восстановлены. Материальная база подведена. Теперь можно подумать и о душе. Дай-ка, Вера, гармонь.

Гости притихли, выжидательно поглядывая на гармониста. А он покосился на Дуню и, чуть подыгрывая себе, приглушенно запел:

Хороша Дуняша наша,
Только мал у Дуни рост.
Достает Дуняша наша
Головой до самых звезд...

Девчата со смеху покатались, а Дуня спрятала покрасневшее лицо в шершавых ладонях больших обветренных

рук. Когда взрыв веселья прошел, Степан повернулся к соседке слева и снова запел:

Если Нюра полюбила,
Завещанье напиши:
Через месяц не останется
Ни тела, ни души...

Он начал было играть плясовую, но девчата запротестовали: пускай и о других споет частушки.

Степан так и сделал. Потом все вместе пели новые песни, рожденные войной. Тревожные и грустные. В них тоска и боль затянувшейся разлуки, робкая надежда на счастье и страстный призыв к любимой: — жди!

Когда запели «В землянке», Степан заметил резкую перемену в настроении Дуняши. Она опустила голову, проворно смахнула платочком слезы с ресниц.

— Что ты, Дуня? — встревожился Степан, оборвав песню.

— Братана вспомнила. Третий месяц никаких вестей. В последнем письме написал: «Иду на задание». И все. С тех пор, как в воду канул. Может, уж давно и в живых нет. А я тут пою...

— Кто он?

— Разведчик, — в голосе Дуни послышались горделивые нотки. — Орден Ленина имеет. Он и дома отчаянный был. А там вовсе разошелся.

— Объявится твой разведчик. Не горюй, — поспешил утешить ее Степан.

— Объявится. Вернется. Так все говорят. Друг дружку утешают. А ведь все-то все равно не вернутся. Многие не вернутся. Вдруг и братан. Страшно. Как подумаю, кровь стынет. Своими руками задушила бы этого проклятого Адольфа. Скажи мне: «Умри, Дуня, и война кончится». Секундочки не колебалась бы.

— Да разве ты одна такая? — с оттенком обиды заговорила Нюра. — У меня никого там нет. А и я себя не пожалела бы. Только ведь такое не бывает. Они еще не скоро нами подавятся. Бить их надо. Я письмо в ЦК комсомола написала. Прошусь в связистки к партизанам.

— Да ну!

— Вот так Нюрка!

— А нам ни слова. То же подружка.

— Всех-то разве возьмут? А одна, может, и пройду. Не

дуйтесь. Чего раньше времени. Возьмут да и вовсе не ответят. Мало ль охотников. Только маме моей не проговоритесь.

— Что ты...

Вдруг Вера сорвалась с места, взялась за угол стола, скомандовала: «А ну, берись!» — и вот уже стол придвинут к стене, а посреди комнаты образовалась небольшая площадка. Вера встала на пятачке, притоннула:

— Давай, Степа, подгорную.

Лихо играл Степан. Лихо плясали девочки. До полного изнеможения стучали каблуками в старые половицы. Судальным задором и даже с яростью, словно топтали свою невзгду и печаль.

До вторых петухов в доме Садовниковых горел огонь. Усталые, но довольные, гости расходились не спеша.

— Пора и мне, — лениво проговорил Степан, швыряя окурков в цветочный горшок. — В кошеве отосплюсь.

— Оставайся. Я уйду к маме на печку, а ты ложись на кровать.

Степан окинул взглядом нарядную пышную постель с целой горой подушек.

— Ладно.

Вера убрала со стола, приготовила постель. Пожелала гостю спокойной ночи. А он вместо ответа спросил:

— Ты долго жила с мужем?

Она вздрогнула. Скользнула по его лицу пытливым взглядом.

— Нет, всего два месяца.

— Где он сейчас?

— Воюет.

— Пишет?

— Прежде писал часто. Теперь нет. Давно не было. Последний раз прислал из-под... — умолкла на полуслове, соображая. Приложила левую руку к груди. — А ты почему о нем спрашиваешь? Из военкомата сегодня приезжал допрашивать. И ты... Что-нибудь случилось? Да? Ну, говори же... Говори... Пожалуйста...

— Да нет. — Степан смущенно потупился. — Просто так, поинтересовался...

— Врешь. — Шагнула к нему. В глазах сверкнули слезы. Голос задрожал. — Думаешь, я глупенькая? Ничего не понимаю? Все понимаю. Врешь ты. Врешь!

— Вру, — сердито отрубил Степан. Помолчал, провел

пятерней по вздыбленным волосам. Заговорил медленно, натянутым голосом: — Не хотел говорить. Праздник портить. А если хочешь знать правду... Знай... Твой муж — предатель. Дезертир. С передовой бежал. Если не посадили — скоро сюда зайвится.

— Ой, — вскрикнула она и отшатнулась от Степана. Нелепо крутнулась на месте, будто подстрелянная птица. Закрыла руками лицо. Глухо застонала, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Вера, — окликнул он. — Послушай, Вера.

Она опустила руки, и Степан поразился происшедшей в ней перемене. Скорбные складки у дрожащих губ. Меловые щеки. Потухшие глаза, налитые нестерпимо острой болью.

— Да ты что... ты что, — только и смог сказать он.

А она вдруг кинула ему на плечи бессильные руки, беспомощно ткнулась лицом в грудь и зарыдала.

— Успокойся, Вера. Не надо. Перестань. Возьми себя в руки. Да перестань же. Ну? Прошу тебя.

Она заплакала еще горше. Степан растерянно огляделся по сторонам. Где-то он видел кувшин с водой. Дать бы ей испить. Хотел усадить на стул. Но она судорожно вцепилась руками в гимнастерку, никак не оторвешь.

— Глупая. Какая ты глупая, — успокаивал ее Степан. — О чем плачешь? О чем? Ведь не ты дезертировала. Да и какой он тебе муж? Без году неделя. Подумашь. Ну, хватит, хватит. Кому говорят...

Он долго еще утешал ее. Успокаиваясь, она плакала все тише и тише и, наконец, совсем умолкла. Только время от времени вздрагивала всем телом и по-детски жалобно всхлипывала. Степан приподнял ее голову. Пальцами стер слезы со щек, не удержался — поцеловал закрытый глаз. Почувствовав под губами слабый трепет ресниц, обнял крепче и стал жадно целовать в щеки, в глаза, в губы. Вера не отвечала на его поцелуй, но и не уклонялась от них. Безжизненно откинув голову, она глубоко и часто дышала полуоткрытым ртом. Верхняя пуговица блузки расстегнулась, обнажив полные упругие груди и ложбинку между ними. Степан не сдержался и поцеловал эту ложбинку. Вера встrepенулась. Ее обмягшее тело мгновенно стало пружинистым и сильным. Резким движением она отстранилась от Степана, прикрыла ладоною обнаженную грудь.

— Не надо. Не трогай меня. Ты мне нравишься. Ты хо-

роший... Но я не хочу так. Если ты ради этого... Только для этого...

— Что ты, Верочка. Прости, если обидел. Как-то само собой получилось. Не сердись. Я же любя...

— Все равно... — Она резко покачала головой. Всклинула. — Не надо так.

Подошла к комоду. Заглянула в зеркальце. Машинально пригладила волосы, застегнула блузку.

— Ложись спать.

— Чего уж ложиться. Пятый час. Поеду. Дорогой отосплюсь.

— Поспал бы хоть немного.

— Да нет, поеду.

Она не удерживала. Степан оделся. Пожал руку растерянной имениннице и ушел.

4

От бессоницы и самогону шумело в голове. Во рту было горячо и горько. Ноги слушались плохо. Мысли путались.

Но вот мороз сцапал Степана ледяными лапищами,дохнул за воротник колючим холодом и сразу согнал и хмель, и сонливость. Ноги зашагали проворнее, в голове прояснилось.

На колхозной конюшне — сонная тишина. Степан долго разыскивал сторожа, наконец, обнаружил его спящим за горячей печкой в сторожке. Вдвоем быстро запрягли каурого райкомовского мерина. Пожелав старику счастливо дозреть, Степан выехал на пустынную белую улицу деревни.

Каурка затрусил нешибкой рысью. Маленькая кошевка легко заскользила по накатанной дороге. Промерзший снег тонко запел под полозьями.

Степан поднял воротник тулупа, подставил ветру бок и задумался. Прожитый день оказался полным неожиданностей. Было над чем поразмыслить.

Первой неожиданностью явился разговор с Шамовым. Когда Степан, попрощавшись с райкомовцами, направился к выходу, раздался телефонный звонок.

— Тебя! — крикнул ему Борька.

Степан недовольно поморщился, подошел к телефону, взял трубку.

— Слушаю.

— Здравствуйте, товарищ Синельников, — послышался холодный голос Шамова. — Чем вы сейчас заняты?

— Собрался в колхоз «Колос». Дошел уже до порога да ваш звонок задержал.

— Очень хорошо. — Степан не понял, к чему отнести эти слова, и, пожав плечами, соорудил потешную гримасу. А Шамов, повторив еще раз «очень хорошо», добавил: — Зайдите сейчас ко мне. Есть одно попутное поручение.

«Вот черт, — подумал Степан. — Не было печали» — и направился к Шамову.

Богдан Васильевич задумчиво склонился над столом, заваленным книгами. Были тут переложенные закладками тома сочинений Маркса и Ленина, книги Тарле и Бисмарка, всевозможные справочники и груды брошюр, отпечатанных на грубой третьесортной бумаге. Прикрыв ладонью левой руки большой голый череп, Шамов читал журнал «Большевик». Он и бровью не повел, заслышав скрип двери. И только когда Степан поздоровался, Богдан Васильевич медленно приподнял лысую голову. Его крупное продолговатое лицо, с большим мясистым носом, слегка оттопыренными губами, было бесстрастным и спокойным. Холодные глаза полуприкрыты тяжелыми, набрякшими веками. Под ними резко обозначились синеватые, похожие на пельмени мешочки.

На приветствие он ответил глухим, усталым голосом. Не вставая, протянул длиннопалую ладонь. Слабо пожал руку Степана и взглядом пригласил его садиться.

Синельников сел. Выжидательно уставился на молчавшего Шамова. А тот энергично потер гладкую, будто отполированную голову, нацелил на собеседника равнодушный взгляд и тихо спросил:

— Кто у вас комсоргом в «Колосе»?

— Вера Садовщикова. Доярка. А что?

— Так-так. — Шамов вынул из стола какую-то бумагу. Не спеша пробежал по ней глазами. Свернул вдвое, прикрыл рукой и, вскинув глаза, снова заговорил. — Значит, Вера Дементьевна Садовщикова. Правильно. Так вот, должен сообщить вам весьма прискорбную весть. Муж Садовщичиковой — Федор Дмитриевич Садовщиков дезертировал из Красной Армии. Органы предполагают, что сей хлюст направился в родные пенаты и, возможно, я подчеркиваю, возможно, он уже навестил свою разлюбленную женушку...

— Не может этого быть.

— Не будем гадать на кофейной гуще, — голос Шамова

стал тверже и резче. Высокий, гладкий лоб зарябил морщинками. Медленным движением руки он выхватил из мраморного стаканчика граненый красный карандаш. Повертел его в тонких пальцах и снова заговорил: — Итак, нам нечего спорить и гадать. Куда направил свои стопы предатель Родины. Это находится в компетенции органов госбезопасности. Сейчас важно решить другое. Может ли жена дезертира возглавлять колхозную комсомольскую организацию в годы войны? Найдут ли ее самые горячие речи отзыв в сердцах женщин-солдаток и вдов? Думаю, в данном случае не должно быть двух мнений. Ее надо снять с поста комсорга. Не освободить, а именно снять. Причем снять публично, как человека, не внушающего политического доверия, как жену изменника Родины. Это мы и поручаем сделать вам.

— Я считаю, снимать ее пока не следует...

— Нас вовсе не интересует, что вы считаете. И я вас пригласил не для дебатов, а для того, чтобы передать поручение районного комитета партии. Утром доложите мне о выполнении.

— Я не буду выполнять ваше указание. — Степан вскопчил, замахал руками, загорячился: — Садовщикова — честная комсомолка, хороший комсорг. Надо сказать ей о преступлении мужа, и она поможет его разыскать. Она не из тех, кто... кто свою шкуру ценит всего дороже... Вот... Настоящая комсомолка. Это для нее такое горе. Нужно помочь человеку в беде, а не добивать его.

— Это все, что вы можете мне сказать? — ледяным голосом спросил Шамов, презрительно сморщившись.

— Все, — выпалил Степан.

— Я еще раз убедился, что вы не созрели для руководства районной комсомольской организацией. Политически не созрели. О сегодняшнем вашем антипартийном поведении я официально поставлю вопрос на бюро райкома партии. Больше я вас не задерживаю.

Степан выскочил из кабинета. Раза два пробежался по коридору и полетел к Рыбакову.

— Он занят, — сказала Валя Кораблева. — У него товарищ из обкома.

— Надолго?

— Кто знает. Много народу вызвали. Наверно, надолго. — Она умолкла, изумленно надломилась светлые пушистые брови. — А ты что, как из парной?

— С Шамовым обменялись любезностями.

Валя нахмурилась. Склонилась над столом и принялась перебирать бумаги. Не поднимая головы, спросила:

— Чего не поделили?

— Нам нечего с ним делить.

— Так уж и нечего?

— Нечего.

— А по-моему, было бы неплохо, если бы он поделился с тобой своими знаниями.

— Не надо мне его знаний. Я сам добыю. Своим хребтом. За чужие спины не привык прятаться. И ради своей шкуры совестью торговать не стану.

— Зря ты это, — с болью проговорила Валя, подняв на Степана сердитые глаза. — Все зря. Он совсем не такой, каким кажется. Он добрый и ласковый. Только одинокий. А то, что дружбы ни с кем не водит, так равных себе по уму не найдет. Люди завидуют и чернят его.

Степан даже попятился от изумления. А она, не заметив этого, говорила и говорила, оправдывала, хвалила Шамова. Видно, немало думала над всем этим, видно крепко наболело у нее на душе, если вот так вдруг прорвалось. Увидя недобрую ухмылку парня, Валя опомнилась, умолкла на полуслове. Силится и не могла найти нужных слов, которыми можно было бы замаять, загладить неловкость, возникшую от ее непрошенной откровенности. Степан не стал ждать, когда она справится с замешательством, молча повернулся и вышел.

Валины слова о Шамоу подлили масла в огонь. Чтобы остудить себя, он принялся вышагивать по длинному коридору. Не помогло. Махнув рукой, Степан направился в кабинет третьего секретаря.

Невысокая молодая широколицая женщина встретила его радостной улыбкой. Вышла навстречу из-за стола, протянула обе руки.

— Здравствуй, Степа. Дай-ка на тебя полюбоваться. Целый год не видела.

— Да что вы, Полина Михайловна. Почти каждый день бываю...

— Вот видишь, почти. — Она сделала строгое лицо, а глаза продолжали смеяться. — Этого мало. Я хочу видеть тебя ежедневно. Садись, рассказывай.

Они сели рядышком на старенький, продавленный диван. Некоторое время оба молчали. Степан думал, с чего начать рассказ о Садовщиковой. А Полина Михайловна

грустно смотрела на его худое, бледное лицо с острым подбородком, ввалившимися щеками и перечерченным ранними морщинами лбом, над которым воинственно топорщилась жесткая проволока волос.

— Что вы меня так разглядываете? — смутился Степан.

— Ты неважно выглядишь, Степа. Синяки под глазами. Морщины. Плохо питаешься. Да? При такой нагрузке в твои годы надо хорошо питаться. А ты только куришь. Вот что. — Маленьким пальчиком потерла нахмуренный лоб. — Вчера для партактива получили кой-какие продукты к Новому году. Я тебе выписала полкило масла и еще кое-что. Надо больше есть жиров и меньше курить. Сегодня же выкупи продукты. А то твое масло может растаять. Хорошо? — Она просительно дотронулась до его руки.

От этой мимолетной ласки у Степана запершило в горле. Он отвернулся, выхватил из кармана кисет, торопливо свернул папироску.

— Может, и меня угостишь?

Он и забыл что Федотова курит. Смущенно кашлянув, протянул ей кисет и бумагу. Пока она вертела «козью ножку», Степан рассказал о столкновении с Шамовым.

Лицо Полины Михайловны стало задумчивым. Взгляд скользнул за окно и долго не возвращался. Она заговорила медленно, приглушенным голосом.

— Кто из вас прав — покажет время. Но если окажется, что прав Шамов, и твой комсорг будет укрывать мужа-дезертира, тогда тебе не миновать жестокого и справедливого наказания. Ты же знаешь, по закону родственники дезертира репрессированы. Органы пока еще не убеждены, что муж Садовщиковой дезертировал, хотя все данные говорят за это.

— Значит, мне надо делать так, как велит Шамов... — загорячился Синельников.

— Видишь ли, Степа, — мягко перебила Полина Михайловна, — наша задача — бороться за человека. А бороться за человека нельзя, не доверяя ему. Так что, по-моему, ты прав. Будешь в колхозе — поговори с ней по душам, посмотри, как она настроена. Интуиция, конечно, не надежный фундамент для политики, но и без интуиции не может быть настоящего партийного работника.

Он ушел от Федотовой успокоенный и уверенный в своей правоте.

По пути в «Колос» Степан приготовился к трудному раз-

говору с Верой, запасася десятком нужных фраз. Но получилось совсем не так, как думалось...

«С ней всегда не так получается. Простлый раз пошел проводить и поцеловал. А нынче вовсе шиворот-навыворот вышло. Разжалобился. Чуть в любви не объяснился. Она, конечно, красивая. А как плакала. Не ожидала. Вот паразит, сволочь этот, ее муженек. Пусть только заявится, она его «приютит». Подлец... И ее перепачкает. Странно устроена жизнь. Человек думает, что он сам хозяин своей судьбы, а на деле иное получается. Люди связаны друг с другом тысячами невидимых нитей. А они так запутаны, будто ими игралась целая сотня котят. Никогда не видел этого Федора, а ненавижу его. И не только потому, что он — дезертир, а и потому, что он принес ей горе. Она — замечательная. Искренняя, честная и очень симпатичная... А губы соленые. Это от слез. Наверное, я ее люблю. Надо было переночевать, утром поговорили бы по душам. Кутерьма получилась. Ты мне нравишься, говорит... Сама призналась... Вот черт. Лезет в голову всякая муть. ...Тяжело ей. А что впереди? Поймают его—не поймают—все узнают. Как тогда? Тут Шамов, наверно, прав. Жена дезертира и комсорг. Снимать ее не за что и оставлять нельзя. Арабская загадка... Что она сейчас делает? Плачет? Намучилась и спит?..»

5

В эту ночь Вера не ложилась спать. Проводив Степана, она до утра металась в пустой полутемной горнице.

На утреннюю дойку пришла раньше всех. Торопливо подоила коров, сдала молоко, и, сославшись на нездоровье, ушла домой.

На полпути ее догнала Дуняша, пошла рядом. Подождала, не скажет ли чего подружка, не дождалась, заговорила первой.

— Ты чего ровно ошпаренная? Что стряслось?

— Голова болит. Наверно, простыла.

— Полно врать-то. Думаешь, я не вижу? Не хочешь — не говори, неволить не стану. Степан, что ль, обидел?

— С чего ты взяла? Он сразу после тебя ушел. Тошно что-то и голова кружится. Верно, и в самом деле заболела.

— Ну давай-давай, сочиняй похлеще, — надулась Дуня и свернула с дороги в первый проулок.

Дуня была самой близкой подругой, но и с ней Вера не решилась поделиться своим горем. Даже матери ничего не сказала. Не смогла, язык не повернулся выговорить такое. Да и побоялась: у матери сердце больное, а такая весть и здорового собьет с ног.

Так и осталась Вера один на один со своим горем. Закрылась в горенке и ну мерять ее шагами. Вдоль и поперек. Иногда останавливалась перед зеркалом, подолгу бессмысленно разглядывала свое отражение. И снова вышагивала, ища и не находя выхода из западни. Окончательно обессиленная, валилась на кровать, но через минуту вскакивала и опять начинался этот ужасный бег. Слепо натыкалась на предметы. Кусала в кровь губы и беззвучно плакала.

За долгие черные часы одиночества Вера не раз принималась за воспоминания, пытаясь в прошлом найти причину свалившейся на нее беды. С болезненным упорством припоминала каждую мелочь, связанную с Федором.

Три года подряд они учились в одном классе. Высокий, сильный, немножко нагловатый Федор нравился девушкам. Они охотно откликались на его предложения о дружбе. Но почему-то всякий раз дружба эта получалась непрочной.

В десятом классе Федор стал настойчиво ухаживать за Верой. Ей нравился парень, но, не желая быть покинутой, она только подсмеивалась над его ухаживаниями.

Война как-то сразу изменила их отношения. Да и Федор неузнаваемо изменился: стал сдержан, задумчив и ласков. По ночам, уединившись от шумной ватаги молодежи, сетовал на свою судьбу. Скоро его призовут в армию, пошлют на фронт, и Вера о нем забудет.

— Ты красивая, — говорил он с затаенной обидой. — Зачем тебе ждать меня? Найдутся другие.

Она утешала его, клялась в верности, а он твердил одно.

— Поженемся, тогда поверю.

В августе сорок первого года сыграли свадьбу. Недолго пожили в доме его родителей, в соседнем селе, а потом переехали к Вере. Полтора месяца промелькнули, как один душный, предгрозовый день. Оттого, что шла война, Вере счастье казалось непрочным и недолговечным. А тут еще все время сосало душу страшное сомнение: «Люблю ли я Федора? Надо ли было выходить замуж?»

Потом Федор получил повестку с приказом явиться в райвоенкомат для отправки в часть. Последнюю ночь они

провели без сна. Он измучил ее, требуя каких-то особых клятв верности. Порывы бурных ласк сменялись порывами беспричинной озлобленности. На смену им приходили минуты каменного безмолвия. Потом все начиналось сначала. Вера с большим трудом подавляла желание встать и уйти от него. Навсегда. Он уезжал на войну, и только потому она терпела. Но когда Федор пристал к ней с нелепым вопросом: «Ты моя? Скажи, ты моя?», она не выдержала. «Как тебе не стыдно. Я ведь не вещь, не частная собственность!» Он взбеленился, набросился на нее с упреком: «Ты только и ждешь, когда я уеду. Муж уже надоел, любовника приглядела»... В конце концов Вера разревелась. Он встал на колени, целовал ей руки и со слезами просил прощения.

Когда автомашина с призывниками скрылась, Вера почувствовала облегчение, словно оковы сняли с нее. «Хорошо, что уехал», — подумала она и ужаснулась этой мысли. «Он же мой муж и я его люблю», — принялась убеждать себя. «А люблю ли?» — выплыл неожиданный вопрос. «Люблю. Люблю», — шептала она, загоняя сомнение вглубь. С большим трудом ей удалось это. Но с тех пор она все время чувствовала в себе это сомнение.

Нет, она не тосковала о муже. Все ее жизненные силы подала работа. Больная мать взвалила на ее плечи домашнее хозяйство, колхоз закрепил за ней двадцать дойных коров. А тут еще комсомольские дела. И эта непрекращающаяся тревога за свою страну, за близких, которые вот уже полтора года брели по дорогам ужасной войны.

Время врачует телесные и душевные раны. Со временем все отстает, оседает муть. И то, о чем когда-то Вера боялась думать, теперь уже не причиняло ей прежней боли. Она не однажды спокойно, как о чем-то постороннем, думала о своей жизни, о Федоре. Он был на войне, и она всем сердцем желала ему остаться живым. Желала совсем не потому, что он — ее муж, а потому, что он — там, он — солдат, он в общем-то неплохой парень. И как-то сам собой решился мучивший ее вопрос. Когда именно это произошло, Вера не смогла бы ответить. Решение пришло не сразу, не вдруг. Оно скапливалось по капельке. И вот упала какая-то последняя капля, и Вера почувствовала, что не любит Федора. Открывшуюся ей истину она до поры до времени упрятала в самый потайной уголок своей души. А пока ее письма к мужу по-прежнему заканчивались словами, что она ждет его, верит в победу и надеется на скорую встречу.

О том же, что будет потом, после войны, как тогда сложатся их отношения, Вера не думала.

И вдруг Федор — дезертир. А она уже не комсомольский секретарь и лучшая доярка колхоза, а жена предателя Родины, за судьбу которой Вера волновалась больше всего на свете. «Как же теперь смотреть в глаза людям? Как встречаться с Дарьей Шинниковой и Ефросиньей Душиной, мужья которых погибли на войне, оставив их с целыми выводками детей? Как агитировать людей, призывая помогать фронту, если твой муж — предал этот фронт, предал свой народ?»

Вопросов становилось все больше и больше. Один страшнее другого. И не было сил ответить на них, потому что в природе не существовало причин, способных оправдать самый страшный на земле позор — измену Родине. Великодушный русский народ прощает своим сынам многие преступления, но к изменникам Родины всегда беспощаден...

«Как же быть? Не сегодня, завтра, пусть послезавтра, но все равно в селе узнают об этом. Узнают от других и спросят меня: почему ты сама не сказала правду, от кого скрывала? Я никогда никого не обманывала, но сказать, что муж — предатель... не могу. Пусть скажут другие. Ведь мог бы это сделать Степан. Он любит — потому и не сделал. А может, он верит? Конечно же, верит, что я сама скажу и комсомольцам, и всем колхозникам. Но я не могу. Пусть меня судят — не могу. Как же теперь смыть, счистить, соскрести это пятно? Отречься от Федора? Скажут шкуру спасаю. Попроситься добровольцем на фронт? Не возьмут: жена дезертира. И все-таки выход есть. Есть выход. Надо только его найти. Найти...»

Два дня не показывалась Вера на улице. Подурнела, осунулась, словно и в самом деле перенесла тяжелую болезнь.

Дуня чувствовала, что подругу настигла беда. По нескольку раз на дню навещала она Веру. Но уже не спрашивала ни о чем, не допытывалась: не каменная в конце концов, не выдержит и расскажет сама.

На вторые сутки вынужденного затворничества, измученная бесплодными раздумьями, Вера не выдержала и открылась Дуняше.

— Какая я несчастная. Ну, скажи, за что я такая несчастная? — со слезами в голосе прошептала она.

— Да что у тебя случилось? — с притворной строгостью прикрикнула Дуня, а у самой от слез защипало глаза.

— Федька...

— Убили, — ахнула Дуня.

Вера отрицательно покачала головой.

— Покалечили? Без рук, без ног?

— Хуже.

— Да говори ты толком!

— Дезертир.

— Де-зер-тир, — шепотом, по слогам повторила Дуня и замерла с полуткрытым ртом.

Вера обняла ее и горько заплакала, сердито выкрикивая сквозь слезы:

— Бежал с фронта. Подлец. И что меня дернуло... Ведь не любила... Дура, дура... Куда ж я теперь. Как же... людям в глаза посмотреть? Он же мой муж. Муж, будь он проклят. Предатель...

Дуныша не выдержала и тоже досыта наплакалась. А потом принялась утешать подругу. Последними словами поносила Федора, говорила, что он не стоит ни слез, ни волнений, уверяла, что его позор не прилипнет к Вере.

Провожая подругу на крыльцо, Вера попросила:

— Ты пока никому ни слова. Завтра я сама скажу. Сама. Понимаешь?

— Что ты, Верка? И не думай. Ты хоть матери-то скажи заранее. Чтоб не вдруг. У нее сердце-то совсем накуда. Надо потихоньку подготовить. Исполдволь.

— Ладно. Скажу.

И опять Вера не могла уснуть. Лежала с открытыми глазами и думала, думала о завтрашнем дне. Завтра она скажет людям о своем позоре. Это решено. Только как это сделать? Какими словами? И кому первому. Или собрать всех сразу?..

Когда пропели третьи петухи, стал наваливаться тяжелый сон. Вдруг ее будто водой окатили. Вскочила, испуганно огляделась по сторонам. Прислушалась. Так и есть. Снова раздался слабый стук в окно. Дрожа от нахлынувшего ужаса, Вера торопливо накинула на голые плечи полушубок и выскользнула в сени.

— Кто? — спросила придушенным шепотом.

— Это я, Вера. Не пугайся. Я. Отвори скорей.

Она сразу узнала голос Федора. Отшатнулась от двери, едва сдержав крик ужаса. А он стоял, отгороженный от нее дощатой дверью, и бессвязно бормотал что-то, прося впустить.

— Сейчас, — с трудом выдавила она. — Сейчас я. Погоди...

Вбежала в избу. Опрометью проскочила в горницу. Не попадая трясущимися руками в рукава, натянула платье. Сунула ноги в старенькие, стоптанные валенки, на ходу набросила шаль, надела полушубок и снова выскочила в сени. На мгновение задержалась у двери, полуоткрытым ртом жадно глотнула ледяного воздуха, ребром ладони вышибла крючок.

Едва ступив на крыльцо, сразу увидела сгорбленную фигуру, притаившуюся у стены. Вот она дрогнула, распрямилась, качнулась навстречу Вере. Федор. На нем измятая, в темных пятнах шинель, серая солдатская шапка с опущенными ушами.

— Вера, — глухо вскрикнул он, боком подвигаясь к ней. — Я к тебе ненадолго. Зайду на минуту и к матери подамся...

Он судорожно дернул головой.

— Стой, — словно защищаясь от подходившего мужа, она вытянула перед собой обе руки. — Стой! Погоди.

— Да ты не пугайся, Вера, — с едкой обидой захрипел он. — Я только гляну на тебя и уйду. Что ты на меня, как на привидение смотришь? Живой я... Пока живой...

Она осторожно спустилась с крыльца. Вплотную подошла к Федору. Кинула ему в лицо:

— Дезертир. Предатель...

— Вера... я, — он пятился от нее, прикрываясь ладонью. — Я все расскажу. Ты поймешь...

— Молчи.

Схватив его за рукав шинели, потянула со двора. Он не сопротивлялся, не спрашивал, куда и зачем она его тащит.

Только когда миновали последний дом села и свернули на большак, он тревожно спросил:

— Куда ты меня?

— В район.

Он качнулся, как от удара. Вырвал руку. Затравленно огляделся. Скособочившись, прыгнул в сугроб. Увязая по колено в снегу, отбежал несколько шагов. Остановился, озлобленно глядя на Веру. В эту минуту он люто ненавидел ее. Долгие, ужасные дни скитаний, голода и страха он скрашивал мыслями о ней. В редкие часы призрачного покоя, когда казалось, что опасность миновала и под ногами монотонно тараторили вагонные колеса, думал толь-

ко о ней. В воспаленном воображении возникали волнующие картины пережитого. Чаще всего она представлялась ему такой, какой была в минуты первого свидания: взволнованно робкой, отзывчивой и нежной. Он с болезненной настойчивостью подолгу удерживал этот образ в своем сознании. Когда же тот исчезал и не хватало сил, чтобы снова вызвать его, начинал думать о предстоящей встрече. Это, конечно, случится ночью. Она выбежит на крыльцо— горячая, заспанная, счастливая — и повиснет у него на шее. Он поднимет ее на руки, внесет в дом. Как тогда, после свадьбы. Он не скажет ей, что дезертировал. Сначала не скажет. Что-нибудь придумает, а потом... потом... Тут начинались мучения. Что будет, когда она узнает правду? Она не станет укрывать его. Хорошо, если согласится молчать. У нее характер не восковой. Может и выдать. Был бы ребенок, ради него... А так ради чего?.. Если любит — не выдаст. Она любит. Такая без любви не вышла бы замуж. Значит, простит... Вряд ли... Что же ожидает его за воротами родного дома? Сочувствие и поддержка или все тот же проклятый, сосущий душу страх?

К концу пути Федор настолько одичал, отощал и отупел, что уже не предавался мечтам. «Только бы выжить. Добраться невредимым до дому...»

И вот, когда он был у цели, дошел до родного порога, Вера предала его.

— Спешись донести, сука! — злобно выкрикнул он. — Шкуру спасти. Прославиться. А меня в расход... — Задохнулся от ярости. Умолк.

Она тоже молчала и, не мигая, глядела на него. Ему страстно хотелось причинить ей нестерпимую боль, заставить ее мучиться, плакать, поставить на колени, кинуть под ноги и с наслаждением бить, давить, топтать ее.

Сжав кулаки Федор медленно пошел на нее. А она хоть бы шелохнулась. Стояла неподвижно, словно статуя, и по-прежнему смотрела на него.

Подойдя ближе, он заглянул ей в глаза и содрогнулся. Лицо перекосилось от злости. Руки раскинул, согнулся, как перед прыжком.

— Не буравь глазами!—заорал он, переходя на визг.— Ты там была? Видела, как убивают? Одной миной шестерых. Танки давят, как букашек. Все в крови. Все горит. А люди... От нашего взвода трое осталось. Я не хочу, чтобы меня давили. Не хочу умирать. Не хочу!

Она повернулась и торопливо пошла прочь.

— Погоди! Вера! Постой!

Она ускорила шаги. Федор затрусил следом. Догнал. Забежал сбоку, норовя заглянуть ей в глаза. Она отвернулась. Он схватил ее за рукав.

— Стой же!

Вера остановилась. Окинула его брезгливым взглядом.

— Чего еще?

Он смотрел на нее с мольбой и страхом. Вот плечи его дрогнули. По небритым щекам потекли редкие мутные слезы. Он небрежно смахнул их ладонью и прерывисто заговорил:

— Как это так... Сам не знаю. Испугался смерти. Всех предал... Родину, товарищей, тебя... Все, как во сне. А ведь не думал. Честное слово, не думал. Не хотел. — Скрипнул зубами, выругался. — Сволочь одна подговорила. Сбаломутил. Послали нас за Волгу. С донесением. Мы сдали его. и... Он попался в Перми, на вокзале. Я хотел сам заявиться к коменданту. Не мог. Думал повидать тебя и... страшно... страшно.

— Идем, — приказала она, беря его за руку. — Ну, да не трясись ты, как лист осиновый. Не съедят тебя. Сам ведь придешь, добровольно. Эх, Федор... — и вдруг заплакала обильными слезами.

Они молчали всю дорогу.

На полпути их нагнала попутная подвода. Пожилая, закутанная в шаль женщина потеснилась, уступая место на санях.

За полчаса до начала рабочего дня они уже стояли на крыльце райвоенкомата. Здесь их и встретил военком Лещенко.

Видимо, в их облике было что-то необычное. Потому военком и задержался перед ними.

Под строгим взглядом Лещенко лицо Федора посерело и стало наливаться синевой. Вера крепко схватила его за локоть и так дернула, что Федор качнулся.

— Докладывай.

— Тов-вар-рищ, в-военком, раз-з-решите об-братиться.

— Говорите.

— Рядовой сорок второго полка Федор Садовников прибыл для... для... для возвращения в действующую армию.

ИМЕНЕМ ПАРТИИ

1.

В «Новую жизнь» Синельников с Лазаревым приехали поздней ночью. Райкомовский Каурка окончательно выбился из сил, когда лес, наконец, расступился и перед окоченевшими путниками возникли потонувшие в снегу избы.

В деревне не светилось ни одно окно. Друзья с полчаса молотили кулаками рамы и дверь правления колхоза. На крыльце показался маленький старикашка в накинутах на плечи тулупе.

— Вы что, ошалели? — напустился он на приезжих. — Кто такие? Отколь и по какому делу?

— Хватит, батя, допрашивать, — Борька бесцеремонно отстранил старика и прошел в контору. Степан последовал за другом.

В углу холодной неопрятной комнаты чадил фонарь без стекла. Черные тени металась по бревенчатым стенам. Покатый к порогу пол ходуном ходил под ногами.

— Мы уполномоченные из райкома партии, — представился Степан и тут же поинтересовался: — Ждали нас?

— Не больно чтоб уж ждали. Не дорогие гости, значит. Новожилова с вечера посидела немного. Может, вас к ней проводить? Баба молодая, вдовая...

— Будет, дед, — перебил старика Борька. — Люди перемерзли с дороги, а ты баланду травишь. Отведи-ка на конюшню нашего рысака, да покажи, где дрова, мы печь расшуреем.

Старик обиженно шмыгнув носом, сердито подсмыкнул сползавшие домотканые штаны, запахнул тулуп и, проворчав, «дрова в поленнице», ушел.

Когда он вернулся, друзья сидели у раскаленной печурки, сонно клевали носами и нехотя курили.

— Пристроил рысака? — поинтересовался Борька.

Дед сердито оторвал сосульку от усов, шлепнул об пол.

— Не беспокойся. Никто на такую тварь не позарится.

— Закуривай, отец, — примирительно-ласково сказал Степан, подавая старику кисет.

Сухими, трясущимися пальцами дед долго свертывал «козью ножку», старательно набил ее табаком.

— Где ночевать будете? — поинтересовался он.

— Мы где стоим, там и спать, — отшутился Борька.

Через несколько минут, сомлевшие от тепла, приятели растянулись на широких деревянных лавках и мгновенно уснули.

На рассвете Степан проснулся, отлежав левую руку. Хотел разогнуть ее и не смог. Острая боль простреливала онемевшие мышцы. Степан сел, потер бесчувственную руку, поморщился.

В комнате полумрак. Красноватый язычок пламени еле высывался из фонарной горелки. Степан подошел к фонарю, выкрутил фитиль, посмотрел на стенные ходики — половина седьмого. Сладко потянулся, зевнул, покосился на скамью, с которой только что поднялся. Закрыв глаза, постоял, безжизненно склонив голову. Потом резко вскинул ее, тряхнул копной жестких волос. Толкнул друга в плечо.

— Вставай, Борька. Пойдем на ферму.

Лазарев рывком скинул ноги на пол, встал. Пробежал пальцами по пуговице бушлата, проверяя, все ли застегнуты. Засунул пустой рукав в карман, хрипло спросил:

— Уже?

— Пора.

Убогий, запущенный вид фермы поразил Степана. Многие постройки были без крыш: солому скормили скоту. Жерди стропил походили на голые ребра скелетов чудовищных животных. Бревенчатый забор круто покосился и держался только на подпорках. Несколько звеньев забора были разобраны, вероятно, на топливо.

В коровнике — темно и холодно, как в леднике. Под ногами — кочки замерзшего навоза. Когда глаза Степана привыкли к мраку, он увидел такое, отчего дух захватило и непроизвольно сжались кулаки.

В стойлах, расположенных по обе стороны прохода, неподвижно стояли замороженные коровы. Из-под кожи, облипавшей навозом и грязью, выпирали острые углы кострецов, выпячивались ребра, явственно проступали наружу позвонки. Казавшиеся непомерно большими, головы безжизненно опущены. Круглые, слезящиеся глаза полузакрыты. Животные не жевали жвачку. Совсем ослабевшие, уже не могли стоять, и их привязывали веревками к балкам.

Потрясенный Степан выскочил из коровника. Раскрытым ртом жадно глотнул морозного воздуха, растегнул верхнюю пуговицу фуфайки.

Его окружили работницы фермы. Они смущенно переминались с ноги на ногу, отводили в сторону глаза.

— Кто заведующий? — резко спросил Степан.

— Я,—к нему шагнула высокая, худая женщина.

Рядом с ней тут же встала другая. Она была по плечо заведующей. Молодая, с мелкими, но правильными чертами обветренного лица. Поправив пуховый платок на голове, сказала:

— Я Новожилова. Здешний парторг.

Степан хотел было накричать на нее, да вовремя перехватив испуганный взгляд, осекся. Помолчал, посверлил злым взглядом растерянных женщин.

— Где председатель?

— Кто его знает. — Новожилова обиженно заморгала короткими ресницами. — Целую неделю бражничает в соседнем районе. Там у него сродственники.

— В каком селе, знаете? — вмешался Борька.

— Кабы знали, давно бы за ним спысывали.

— Так, — сквозь зубы отрубил Степан. — Собери в правление коммунистов, комсомольцев, актив. — Опустил голову и зашагал прочь от мертвой фермы.

Новожилова пошла рядом. Борька позади.

Все долго молчали.

Степан сердито косился на широко шагавшую Новожилову. Вспомнились слова сторожа: «Баба молодая и вдовая». «Убили, наверное, мужа», — подумал он и сдержанно спросил:

— Солому с крыш скормили?

— Все скормили. И солому, и веники. Под метлу.

— Чего ж летом-то думали? Как зимовать собирались?

— Было у нас сено. На всю зиму напасли. Бывший председатель перед уходом в армию размотал. Продал и пропил. Сам ушел на фронт, а нас бедовать оставил.

— Надо этого паразита отозвать из армии и судить, как предателя, — подал голос Лазарев.

— Некого судить. Похоронную по нем получили.

И снова долго молчали. Но теперь Степан уже не косился на Новожилову. Шел рядом с ней, подстроившись в ногу. У правленческого крыльца остановился, вполголоса спросил:

— Что будем делать?

— Не знаю, — скорбно выдохнула она. — Кабы знали, вас бы к нам не прислали.

Часам к десяти утра в правлении негде было повернуть-

ся. Собрались почти все колхозники. Старики и трое мужчин средних лет, то ли уже отвоевавшие, то ли белобилетники, дымили и дымили самокрутками.

Синельников, Новожилова и Лазарев уселись за стол, и сразу стихли голоса. Десятки настороженных глаз уставились на приезжих.

Новожилова поднялась. Глядя поверх голов, сказала:

— Что у нас на ферме делается — сами знаете. Говорить об этом не буду. Почему так получилось — тоже знаете. Теперь надо думать, как спасти скот. Если до завтра не доставим кормов — начнется падеж. Помощи ждать неоткуда. В соседних колхозах не разживешься: сами еле концы с концами сводят. А у нас только коров сто двадцать, да сколь молодняку, да кони. Вот и давайте решать.

Но охотников «решать» не оказалось. Все понуро молчали, пряча глаза. Напрасно Синельников с Новожиловой призывали собравшихся «высказаться, поделиться мнениями, внести конкретные предложения» — люди молчали.

Тогда Степан взорвался. Грохнул по столу кулаком и бешено заорал:

— Молчите? Казанскими сиротами прикинулись? А где вы были, когда председатель пропивал сено? Также молчали? Колхозное — не ваше. Люди воюют, кровь за нас проливают, а мы скот морим. Это вредительство, предательство, за такие дела надо...

Борька так дернул Степана за полу фуфайки, что тот от неожиданности плюхнулся на скамейку. Несколько мгновений молчал, ошалело глядя на необычно сурового приятеля. Потом по лицу Степана пробежала какая-то тень, и он, повернувшись к людям, сказал с глухой болью:

— Не можем же мы своими руками погубить народное добро, ударить в спину Красной Армии. Значит, надо найти выход. Понимаете? Надо. И я прошу... от имени райкома, от имени нашей партии прошу вас, товарищи, помогите спасти скот. Не может быть, чтобы не было выхода. Таких положений не бывает...

— Верно, паря, — сразу откликнулся рыжебородый мужик в армейском дубленом полушубке и серой солдатской шапке. — Выход всегда можно изыскать из любого положения. Вот, к примеру, попала зимой сорок первого наша рота в окружение...

— Ну, Плесовских, опять завел канитель про свою роту... — слышался чей-то насмешливый голос.

— Рота тут не при чем,— огрызнулся рыжебородый.— Это к слову. И опять же для разгону. А выход из нашего положения тоже есть. Можно, к примеру, камыш покосить. Вона сколь его на озере. Я председателю уже говорил, а он только рукой отмахнулся — не пойдет, мол, никто. Понятно, сухой камыш — не велико лакомство, но ежели его порубить помельче да запарить — со-ойдет.

— Это верно.

— Камышу у нас вдосталь.

— Коси не перекусишь.

— Сейчас отощавших коров камышом не поднимешь, — проговорила заведующая фермой. — Их надо допреж на хорошем сене поддерживать. Да и кони не станут камыш есть. Надо разжиться сеном.

— Надо. Это правильно, а где его взять?

— Может быть, у колхозников попросить. Взаимы, конечно, до лета. Скот-то общественный. Не частная собственность. Народная. — Борька встал. Машинально заправил в карман бушлата выбившийся пустой рукав. Ища подходящих слов, ткнул воздух кулаком. — Неужели своему колхозу воз сена в долг не поверят...

— Пошто не поверят, — откликнулась Новожилова. — Поверят, да только нет его, сена-то. Колхозники сами с нового года коров соломой да камышом прикармливают. Вот у единоличников есть.

— Чего и не быть, — злобно выкрикнул кто-то. — Все лето по колкам да лесам шныряют. Там клоч, тут прокос...

— Весной нам это сenco по мешку продают, — подал голос рыжебородый. — Прямо по пословице получается — кому война, а кому мать родна...

— Постойте, товарищи, — Степан растерянно улыбнулся. — Что-то я никак не пойму. О каких единоличниках вы говорите? Разве у вас в селе есть единоличники?

Все засмеялись. Потом, перебивая друг друга, рассказали приезжим, что в деревне живут и здравствуют двенадцать семей единоличников.

Лицо Степана мгновенно прояснилось. В серо-зеленых глазах загорелись озорные огоньки. Объявив собрание прерванным до вечера, он сказал рыжебородому:

— Идите на конюшню. Запрягайте в дровни шесть-семь лошадей — и сюда. Поедем занимать сено у единоличников и у колхозников. У кого есть — у того и займем. А сейчас создадим комиссию...

Первым из правления выскочил невысокий, коренастый мужик в черном полушубке с коротенькой потухшей трубкой во рту. Это был колхозный кузнец Клопов. Он пугливо оглянулся по сторонам и с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать, торопливо зашагал к своему дому. Войдя в калитку, дал волю накопившемуся нетерпению — рысцой пересек двор, влетел в избу, крикнул с порога:

— Ульяна! Улька!

Из дверей горницы выглянуло молодое заспанное лицо.

— Чего тебе? — недовольно спросила женщина, подавляя зевоту.

— Быстренько одевайся. Я за стайкой буду. Бери вилы и ко мне.

— Что случилось? Скажите хоть толком.

— Некогда лясы точить. Собирайся живо. — И ушел, хлопнув дверью.

«Вечно с причудами, — сердито подумала Ульяна, глядя на дверь, за которой скрылся свекор, — чего взбуровилась? Наскипидарили его, что ли?»

Она не спеша оделась, замотала голову полушалком и вышла во двор. Старика там не было. Ульяна просеменила за сарай и увидела свекра. Он стоял на огромном стогу и скидывал с него сено.

— Что случилось, папаня? — Ульяна в изумлении надломила правую бровь.

— Не разговаривай, — прикрикнул свекор, — айда сюда, скидывай сено да попроворнее, а я его на сеновал таскать буду. Там пусто, места хватит.

Старик легко спрыгнул со стога. Поддел вилами огромную охапку, крикнул, вскинул навильник над головой и проворно понес его к большому бревенчатому сараю.

Скоро от огромного стога осталась небольшая кучка — воза полтора—два.

— Хватит, — скомандовал старик снохе. — Слезовой.

Они подобрали раструженное по снегу сено, подгребли его к куче.

Старик вытер ладонью потный лоб. Сунул в рот мундштук коротенькой, насквозь прокуренной трубочки.

— Какая блоха вас укусила? — Ульяна обнажила в улыбке мелкие ровные зубы.

— Комиссия из района приехала. Сейчас по селу пой-

дут. Будут сено отымать, у кого есть. Поняла? У нас корова, бычок да девять овец, а сена всего ничего осталось. — Он показал на остатки стога и довольно засмеялся.

— Если они не дураки, могут и на сеновал заглянуть.

— Сарай я замкну. Ключ у меня. Я сейчас уйду к куму. Ломать замок не посмеют, да и подозрений у них быть не может. Они с улицы, через заборы будут заглядывать. У кого стог большой на огороде, к тому и подвернут. Ты тоже уходи куда-нибудь. Избу замкни. Ни хозяев, ни сена. Так-то лучше.

— Дипломат вы, папаня.

— Нужда заставит и дипломатом сделаешься, — довольно улыбнулся Клопов, пыхнув коротенькой трубочкой.

3

Пока создавали комиссию по изъятию излишков, готовили бланки расписок да бегали за лошадьми, прошло немало времени. Вся деревня уже знала о том, что уполномоченные будут отбирать сено. Проворные и нахальные, как воробьи, деревенские мальчишки облепили правление. Они то и дело забегали в контору, прислушивались, приглядывались и стремглав улепетывали прочь, неся на кончике языка свежую новость.

Снедаемые любопытством, женщины сгрудились возле колодцев и у калиток. Судачили обо всем на свете, а сами все поглядывали в сторону правления: не идут ли.

Дошла молва и до единоличников. Они верили и не верили. Однако на всякий случай закрыли ворота на засовы, спустили с цепей собак, а сами притаились в домах, послав на догляд мальчишек.

И вот поползло по деревне: «Идут. Идут».

Это была довольно странная процессия. Впереди Синельников с Лазаревым и Новожиловой. За ними — рыжебородый в солдатской шапке, заведующая фермой. Потом гуськом вытянулись шесть подвод с кучей ребятни на дровнях. А позади, на почтительном расстоянии, растущая на ходу толпа любопытных.

— Вон видите голубые ставни. Это самый матерый единоличник — Денис Епихин. Поехали к нему.

— Ладно, — согласился Синельников и ускорил шаги. Но через минуту остановился. Показывая рукой на засне-

женный стог сена, торчащий посреди пустынного огорода, спросил:

— А это чье сенцо? Тут, по-моему, возов этак десять будет.

— Пожалуй, поболе, — поддержал рыжебородый.

— Кто хозяин?

— Механик МТС. Семья — в колхозе, а он в МТС на ремонте. Наш человек, — скороговоркой выпалила Новожилова и двинулась дальше.

— Пойдите, — Синельников ладонью сбил малахай на затылок. — Что значит наш? Разве здесь есть чужие? Все наши. С механика и начнем.

Новожилова попробовала возражать, но Степан грубо оборвал ее:

— Хватит! — и женщина смешалась, замолчала.

Во дворе их встретила моложавая, румяная хозяйка. Сдержанно ответив на приветствие, пригласила в избу.

— Сколько у вас коров? — спросил Степан.

— Сколь у всех. Одна. — Она окинула парня надменным взглядом. — А вы что за комиссия? По молоку или по яйцам?

— По шерсти, — выкрикнул кто-то и все засмеялись.

— Овцы есть? — продолжал допрашивать Степан.

— Есть три овцы, поросенок...

Борька предостерегающе вскинул руку.

— Поросята и куры не в счет. Значит, корова и овцы. Сколько же им сена понадобится до лета?

— Возов шесть, — ответил рыжебородый.

— К чему это вам? — встревожилась хозяйка.

— Значит, надо, — Степан повернулся к рыжебородому и тоном приказа кинул: — Заезжайте, грузите четыре воза, я сейчас выпишу расписку.

— Как это так «грузите». Мужик день и ночь в МТС. По неделям домой не приходит. Косил по ночам, а вы — ишь какие красивые на чужое добро. Не дам. И не нужна мне никакая расписка.

Новожилова плечом отстранила Степана, придвинулась к хозяйке, взяла ее за рукав куртки.

— Успокойся и не шуми. Ну, помолчи минутку, послушай. — Женщина умолкла, а Новожилова, понизив голос, продолжала: — Беда у нас. Скот в колхозе пропадает. Надо его спасать. А кормов нет. Вот мы и решили всем миром просить у тебя и у других, у кого есть, сена взаймы. Летом

накосим, отдадим. Неужто допустишь, чтоб колхозный скот с голодухи падал, а сено на рынок повезешь?

— Мы сроду им не торговали.

— Ты дашь, другие, глядя на тебя, не откажут.

— Да я что, только без мужика неловко. Придет—заругается.

— Не заругается, — сказал Степан.

— А ты молчи, — женщина сердито глянула на смущенного парня. — Ишь, начальник какой — «грузи». А что — по-хорошему-то рассказать язык бы отнялся. — Повернулась к Новожиловой. — Ладно, нагружайте четыре воза. А расписок мне ваших не надо. Я своему колхозу и без расписок верю. Вот так, товарищ уполномоченный, — крутнулась перед Степаном и пошла к стогу.

— Прямое попадание. — Борька рассмеялся, хлопнул друга по плечу.

— Лиха беда начало. — Рыжебородый подмигнул и полез на стог.

С хозяйками двух соседних дворов тоже быстро сговорились. Они, хотя и неохотно, но согласились одолжить колхозу по несколько возов сена.

Но вот подошли к дому с синими ставнями. Высокие тесовые ворота оказались на запоре.

Степан долго стучал и в калитку, и в окна. Из-за ворот доносился остервенелый собачий лай и больше — ни звука.

— Забаррикадировались, — сердито проговорил Степан и стал свертывать папиросу.

— Придется через забор махнуть, — предложил Борька.

— Собака порвет,— предупредила Новожилова.

— Ничего, — лихо отмахнулся Борька и, положив единственную руку на забор, легко перепрыгнул через него.

Со двора послышался истошный лай, визг, какие-то голоса, и вот тяжелая калитка распахнулась. Борька спиной подпер створку калитки и молчал, с шумом втягивая холодный воздух тонкими раздутыми ноздрями.

— Открывай ворота, — наконец, грозно сказал он кому-то невидимому.

— Ты что за хозяин?—послышался хриплый с клекотом старушечий голос.

В проеме калитки показалась высокая, костистая старуха с крючковатым носом и острыми скулами, круто выпирающими над глубоко запавшими морщинистыми щеками. На вид ей было лет семьдесят — никак не меньше, но по-

молодому ярко во рту белели крепкие зубы, сверкали глаза.

Степан подступил к ней. Солидным официальным тоном спросил:

— Вы гражданка Епихина?

— Знамо, что я, — недобро глядя на парня, тише и сдержаннее ответила старуха. — А тебе какая забота?

Синельников еще подпустил строгости в голосе и заставил ее рассказать, какой скот имеется в хозяйстве. Но когда заявил, что они хотят позаимствовать у нее несколько возов сена, старуха взвилась. Потрясая перед лицом Степана по-мужски крупным и увесистым кулаком, она закричала:

— А... не хочешь? Ишь чего надумал! Ты это сено косил? Ты его греб? На своей хребтине мешками таскал? А теперь пришел за сеном. Колхозное пропили, давай единоличников телешить. Проходимцы...

— Успокойся, бабуся, — попытался унять разбушевавшуюся старуху Борька.

— Я те не бабуся. Сучка приبلудная тебе бабуся, а не я.

Борька посинел от бешенства. Нагнул голову и, наступая на старуху, заорал:

— Катись отсюда к... матери, кулацкий прихвостень...

Она испуганно попятилась. Он подскочил к воротам, вцепился рукой в тяжелый трехметровый засов и стал вытаскивать его из скобы. Синельников поспешил на помощь.

В это мгновение из-за угла выскочила старуха. В руке у нее был топор. Широко замахнувшись им, она кинулась на Бориса.

— Убью, окаянный!

Остро отточенное лезвие жутко блеснуло в воздухе. «Ай!» — пронзительно вскрикнула Новожилова. Борька нервно дернулся, рванул пуговицы бушлата и шагнул под занесенный топор.

— Бей, чертова кулачка. Руби! Фрицы не добились. Добивай ты. Глуши русского матроса. Прямо по черепу сади, стерва... Ну... — И он выпустил очередь таких замысловатых и едких ругательств, каких в селе отрадятся и не слыхивали.

Старуха оторопела. А Борька вырвал у нее топор и, угрожающе крутнув им в воздухе, прикрикнул:

— Уходи отсюда...

От Епихиных на колхозную ферму увезли девять возов сена.

Предсказание Клопова сбылось... Комиссия заходила лишь к тем, у кого на огородах торчали стога. Во двор к кузнецу она не заглянула. Клопов был доволен собой. Измученные члены комиссии тоже были довольны своей деятельностью. Еще бы, за один день на колхозную ферму завезли более трехсот центнеров доброго, душистого сена.

Поздним вечером в правлении колхоза началось общее собрание. Оно было недолгим, но бурным. Вздурораженные дневными событиями люди говорили откровенно и резко. Помянули недобрыми словами отсутствующего председателя, поругали Новожилову. Собрание решило: завтра с утра всем трудоспособным выйти на заготовку камыша.

По домам расходились нехотя.

— А вы опять в конторе ночевать будете? — спросила Новожилова друзей.

— Нас вроде никуда не приглашали, — с чувством оскорбленного достоинства ответил Борька.

— Как это не приглашали? — удивилась Новожилова. — Я ведь предлагала товарищу Синельникову...

— Ничего, — перебил ее Степан. — Переспим и здесь. Не привыкать.

— Пойдемте хоть ко мне поужинаем. На пустой-то живот не больно спится.

— Это можно, — согласился Степан.

Пока друзья ужинали, в конторе вымыли полы и так натопили, что бери веник и парься.

— Смотри, как о нас заботятся. — Борька устало улыбнулся. — Ложимся?

— Проветрим немного. Толкни-ка дверь...

Но дверь отворилась сама, и в контору вошел мужчина лет тридцати. Он был в шинели, ушанке, в кирзовых сапогах. Перешагнув порог, остановился, с нескрываемым любопытством оглядел ребят, занятых приготовлением ко сну. Постояв, тихонько, бочком двинулся к столу. Прищурился от неяркого света фонаря. Степан в упор глянул на крупное, одутловатое, в багровых подтеках лицо незнакомца.

— Чего надо?

Припухшее лицо с квадратной челюстью исказила ухмылка.

— Дак это я вроде должен поинтересоваться, кто вы и почему здесь. Все-таки я председатель.

От него разило самогонным перегаром. Степан брезгливо сморщился. Серо-зеленые глаза стали темными и необыч-

но большими от гнева. Цепко схватив председателя за воротник шинели, подтянул к себе.

— Говнюк ты, а не председатель, — крикнул ему прямо в лицо. — Была б моя власть, я б тебя, подлеца, не раздумывая, поставил к стенке.

— Это как понять! — председатель ударом ладони отбил руку Степана. Храпанул, будто хрюкнул, и с пьяным задором зашумел, повышая и повышая голос. — Это меня в расход? Я девять раз ходил в штыковую, понял? Имею два ордена и медаль. До меня колхоз разорили, а теперь я — к стенке. Да ты знаешь...

— Стой, братишка, — Борька с силой хлопнул по плечу закипевшего председателя. — Кончай пускать пары. Становись на якорь. — И вдруг не выдержал игривого тона, сорвался на крик: — Ты что думал, на твои ордена и нашивки люди богу станут молиться? Может быть, ты один пострадал за Отечество, а нам руки мыши отгрызли? — И тише, с глухой ненавистью: — А сейчас ты поступил, как предатель. И не разевай рта. Хотел погубить весь скот. Безжал. Дезертир. Не разевай, говорю, рта, а то...

Председатель стих.

— Завтра люди идут косить камыш, — не глядя на него, ледяным голосом заговорил Степан. — На свету. Встанешь первым, соберешь бригадиров и будете поднимать колхозников. За два дня надо скосить и перевезти на фермы весь камыш. И попробуй еще раз улизнуть. А за этот трюк будешь отчитываться в райкоме партии.

— Отчитаюсь. Не грози, — буркнул председатель и, выпитив тяжелый квадратный подбородок, медленно двинулся к выходу.

Друзья сели рядышком на скамью. Посидели, помолчали. Борька сонно клюнул носом.

— Будем спать, Степа?

— Спать, Боря.

— Добро...

4

За ночь сильно похолодало. Воздух стал прозрачным и как будто звонким. С севера налетали порывы жгучего ветра. Друзья зябко ежились и все время норовили повернуться к нему спиной или боком. Пока шли деревней, это еще

как-то удавалось, но за околицей, на равнине, ветер заметался, словно сорвавшаяся с цепи собака. Он кидался на грудь, жалил лица, кусал руки. Отскакивал и тут же набрасывался с другой стороны. В одну минуту растрепал шарф на шее Степана, опалил холодом горло, грудь. Втянув голову в плечи, Степан кряхтел и ухал. Борька тер ладонью щеки, ожесточенно бил себя рукой по бедру, пританцовывал. Несколько раз, потеряв терпение, отпускал многоэтажные ругательства.

Степан смеялся окоченевшим ртом и поощрительно хлопал приятеля по спине.

У озера сбились в тесный кружок несколько колхозников. Рядом понуро стояли две лошади, запряженные в дровни. На них—кучи лопат, кос, веревок. Борька еще издали сосчитал собравшихся. Одиннадцать. Тут же был и председатель.

— Никто больше не идет, — сердито сказал он, гулко стучая промерзшими рукавицами. — Морозище, мать его. Может, перенесем все это на другой день. Должно же погреться...

— Бери косу, — перебил его Степан. — Становись впереди и начинайте косить. Мы пойдем за народом.

Они пошли втроем. Третьей была Новожилова. Начали с крайнего дома.

Собственно, домом это строение недостойно было называться. Маленькая покосившаяся избенка, придавленная снеговой глыбой. С улицы изба походила на снежный ком с двумя темными дырками-окнами.

Двор широкий и пустой. Только в огороде торчала банька, да в дальнем уголке притулился небольшой сарайчик. От него к дверям избы пробита в снегу глубокая тропинка. На ней стояла чернолицая женщина в распахнутом полущубке, небрежно повязанная серым платком. Увидев подходящих к дому людей, женщина метнулась в избу. Они вошли следом. Высокий Борис звонко стукнулся лбом о дверную притолоку, ругнулся вполголоса. Хозяйка неподвижно стояла посреди комнаты и недобрыми глазами смотрела на вошедших. В избе было холодно и по-нежилому неуютно. На крючке, вбитом в потолок, болталась зыбка. В ней монотонно и протяжно плакал ребенок. Зыбку качала девочка лет семи. Грязная, нечесанная, с болячками на лице. С полатей свешивалась лохматая головенка. Горящие любопытством глаза скользили по незнакомым лицам. В

углу, у порога, пуская под себя тонкую струю, стоял бело-головый теленок. Воздух в избе спертый, едучий.

— Здравствуйте, — Степан стянул с головы малахай.

— Здравствуй, — негромко ответила хозяйка и посмотрела на него тупым, бессмысленным взором. Степан еле сдержался, чтобы не повернуться и не кинуться вон из этой мрачной избы, где все кричало о жестокой нужде. Глубоко вздохнул, расправил плечи.

— Как фамилия?

— Долина. Агафья Долина.

— На собрании была?

— Ага.

— Знала, что сегодня надо идти косить камыш?

— Ага.

— Почему не пошла? Или тебе общее собрание не указ?

— Почему не пошла, говоришь? — переспросила она, и губы у нее вдруг задрожали. — Значит, заинтересовались мной? Нужна стала мерзлый камыш косить. А вот сдохла бы я сегодня — и никто б не пришел. У меня вон четверо. И от мужика никаких известий. Должно, погиб. Стало быть, сироты. А я дрова из лесу на себе вожу. Был амбар во дворе — стопили. Сколько за председателем ходила, слезьми плакала, в ноги ему кланялась — дай лошадь дров привезти. А он за сиськи меня да за ляжки лапает. Дала я ему по морде. Хлеба второй месяц не едим. Картошка кончается. Все лето на траве просидели. С утра погоню ребятишек в лес. Они там наедятся всякой зелени. Пучит им животы, по ночам блюют, а все-таки исть не просят. Пучки варила. А сейчас что сварю? Снегом их не накормишь. Продать нечего. Нашелся бы покупатель — себя продала. Так ведь сейчас и молодых баб сколь хошь. Они и напоят и приголубят. А мне нечем своим детишкам голодные рты затыкать... — последние слова она договорила шепотом и, обессилев, села. Плетями повисли натруженные руки. Уронила голову на грудь, и по запавшей, черной щеке поползла крупная слеза.

Никто не произнес ни слова. Постояли, постояли и по знаку Синельникова молча вышли во двор.

— Слушай, Борька. — Степан схватил приятеля за рукав. — Боевое поручение. Чтобы к вечеру у нее были дрова и хотя бы пара мешков картошки. Понимаешь? Ни перед чем не отступай. Действуй от имени партии.

— Добро...

К полудню у озера собралась добрая половина колхозников. Вскоре туда подошли и Синельников с Новожиловой. Они побывали почти во всех домах. Много горя увидели. Но рядом с людьми, примятыми нуждой и отчаянием, были и такие, кто за тяжелым вздохом и грубостью прятал сытое, тупое равнодушие хищника.

Особенно запомнился Степану разговор с колхозным кузнецом Клоповым. Они встретились у калитки его дома.

— Доброго здоровьца, — первым поздоровался Клопов, дотронувшись рукавицей до шапки.

— Здравствуйте, Артем Климентьевич, — сухо ответила Новожилова. — Далеко ли?

— На сенокос, — Клопов насмешливо прищурился, а его трубочка вдруг затрещала, застреляла искрами. Он фыркнул коротким широким носом. — На покос спешу, товарищ парторг и товарищ уполномоченный.

— Здорово вы спешите. — Степан неприязненно посмотрел на кузнеца. — Скоро обед, а вы никак не расчихаетесь.

— Промежду прочим, товарищ уполномоченный, вы напрасно на меня волком глядите. — Щеки кузнеца налились кровью и стали, как каленый кирпич. — Я нынче поране вас поднялся. Бабам косы наладил да отбил.

— Он человек новый. Откуда ему знать, что вы кузнец? — вступилась Новожилова за Степана.

— То-то и беда, — словоохотливо заговорил Клопов, и его трубочка засвистела, вбирая в себя морозный воздух. Из широких волосатых ноздрей кузнеца повалили клубы дыма. — То-то и беда, что мы норовим нахрапом взять. С разбегу, значит, раз-два и в дамки. Был у меня сегодня ваш товарищ. Приставил нож к горлу — давай мешок картошки детям-сиротам и все.

— Какой нож? — встревожился Степан.

— Это присловье такое. А вообще-то силком выгреб из голбца пять ведер картошки и увез. Вчера вы сено силком отнимали, сегодня — картошку. А завтра за рубахой придете? Где тут закон? Разве Советская власть так учит к мужику относиться?

— Постыдился бы, Артем Климентьевич, жалиться. У тебя этой картошки две ямы засыпано. Сколь добра на нее повыменивал.

— Ты на мое добро не зарься. Оно не краденое, не по наследству досталось. Своим хребтом заработал. Стало быть, моя собственность. И нету никаких законов, чтобы силой чужую собственность отымать.

— Твоя сноха за все лето не более двух недель на колхоз работала. Все на своем огороде, — не уступала Новожилова.

— Огород ее кормит, на ем и робит. Хватит и того, что я на колхоз задарма спину гну. В мои годы старики на печи лежат, а я с кувалдой нянькаюсь.

— Значит, так, — закипая гневом, вступил в разговор Степан. — Идет война — тебе наплевать. Колхоз без рабочих рук задыхается — тоже наплевать. Скот общественный дохнет — твоя хата с краю. Ребятишки, дети солдатские, голодуют — пусть. Лишь бы твою собственность не трогали. Ах ты, жук навозный!

— Вы за это ответите. Не думайте, что на вас упрасы не сыщется. А войну не я придумал. И она меня не обошла. Мой сын с первого дня воюет...

— Где он воюет? — подскочила к кузнецу Новожилова. — Где? Второй год по тылам околачивается. То в училище, то на курсах, то в резерве да в запасе. И думаешь — не знаем почему? Твоими денежками да посылочками откупается. Такой же шкурник, как и ты. Мой мужик, небось, не попал в запасной. В июне призвали — в августе похоронная. А твой сынок... Молчал бы уж... И сам ты на народной нужде наживаешься. Погоди. Вернутся фронтовики, они и с тебя, и с твоего сына, и с твоей гладкозадой снохи спросят.

— Вы на меня не орите. — Руки Клопова дрожали. Он с силой всадил вилы в снег. Пригнул голову. И такая неумная злоба загорелась в его глазах, что Степан всем существом почувствовал: перед ним враг. Инстинктивно вскинув правое плечо, прижал кулаки к груди. Кузнец отступил на шаг. Глухо заговорил. — Унтера какие. Плевал на вас. — Оскалил в кривой улыбке крупные желтые зубы, плюнул под ноги. — Поняли? И больше ко мне не суйтесь. Я к вашей кузне и не подойду. Сама становись к наковальне, а этот — кивок в сторону Степана — пушай тебе меха раздувает. Ха-ха-ха. — Вырвал вилы из сугроба, крутнулся вьюном и исчез за калиткой своего двора.

Степан рванулся было за ним, да Новожилова схватила его за рукав.

— Пстой, горячка. Ты этого паразита не перевоспитаешь. Только кровь себе попортишь. Идем на озеро.

Он долго смотрел на Новожилову непонимающим взглядом. Потом глубоко вздохнул.

— Идем...

6

Над озером стоял глухой шум. По колено в снегу медленно двигались люди с веревками, лопатами, шестами. Они сбивали снег с камыша, протапывали тропы. Следом шли косари. Десятка полтора кос с хрустом и треском вонзались в сухие стебли, крушили их, проделывая ровные просеки в зарослях. Скошенный камыш сгребали в копны и увозили на ферму.

Разогретые работой, люди поснимали полушубки, сбили на макушки шапки, заткнули за пояса рукавицы.

Работали напористо и дружно. Только время от времени кто-нибудь пускал соленое словечко, проклиная подвернувшуюся под косу кочку или подгоняя зазевавшегося соседа.

Русские люди сильны артелью. Когда они вместе, их никто не одолеет ни в бою, ни в труде.

Девчата перекидывались шуточками, не упуская случая поваляться в снегу. И вся эта косьба на морозе, поначалу казавшаяся дикой и пустой затеей, незаметно обрела ритм и накал трудового порыва большого коллектива людей...

Вечером Борька доложил Степану, что боевое задание выполнил, завез Долиной и дрова, и картошку.

— Где взял? — полюбопытствовал Степан.

— Дров набрал в сельсовете и в колхозной конторе — ровно по возу. Они — хозяева, без топки сидеть не будут. А картошку... — Он замылся, смиренно почесал заросшую щетиной впалую щеку, виновато улыбнулся. — Реквизировал у здешних куркулей.

— Что за куркули?

— Есть тут такие, — Борька вдруг ожесточился. — По две ямы картошки да погреба доверху набиты. Меняют на барахло. Сволочи. За ведро картошки последнюю рубаху с голодного снимут. Вот Клопов, к примеру, кузнец здешний. Не дом — антикварная лавочка. И все за картошку наменял. У-у, паразит. За пуд картошки чуть не удавился. И самогону мне предлагал, и сноху свою подсаживал. Была

б моя власть... Вот я и наложил на них продрозверстку — по пуду на рыло. Теперь у Долиной до весны хватит картошки.

— Знаю я твоего кузнеца. Познакомились. Только это опять нарушение законности. Закатят мне выговору.

— Будут напирать — вали на меня, на мою личную инициативу...

За два дня выкосили весь камыш и свезли его на ферму. Там оборудовали кормозапарники, приспособили соломорезки для измельчения...

Уполномоченных провожала толпа колхозников. Пожилая Синельникову руку, Новожилова ласково заглянула ему в глаза и вдруг сказала:

— Тебя бы к нам председателем, Степа. Смотри, как народ-то поднялся. Давно уж так дружно не работали. И скотину спасли.

— Что ты? — Степан покраснел. — Какой из меня председатель? Не надо только паниковать. А в случае чего — звони. Приедем. Райком комсомола будет над вами шефствовать.

— И то хорошо, — обрадовалась Новожилова. — Спасибо тебе. От всех спасибо.

Проводы растрогали друзей, и всю длинную дорогу они находились в отличном настроении.

В райцентр приехали в полночь. Борька повел лошадь на конюшню, а Степан сходу направился к Рыбакову.

Василий Иванович поднялся ему навстречу, протянул руку. Не разжимая зубов, спросил:

— Как там?

— Все в порядке. Задание выполнено. Скот до весны кормами обеспечен.

— Где раздобыл? — улыбаясь глазами, спросил Рыбаков.

— Можно не говорить об этом? — сразу сник Степан.

— Как хочешь. Иди отдыхай.

А когда Степан повернулся и устало шагнул к двери, Василий Иванович неожиданно крепко обнял его за плечи.

— Молодец.

Степан не помнил, как очутился на улице...



СТАНИСЛАВ НАЗАРОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Звоном и хрустом
Природа цвела.
Мама в капусте
Меня нашла.

Любопытство.

В. Фалей.

Когда нежнейшим кустиком
Поэзия цвела,
Муза в капусте
Меня нашла...
И вот — иду по тропке,
Строчками звеня.

Шлепают по попке
Критики меня.

Не считают солнцем —
Шепчут их уста:
— И зачем же, золотце,
Ты поэтом стал?
Ставят к каждой строчке
Вопрос-значок:
— Ну-ка, кулачком
Пощупаем бочок!
Этак проспрыгают
В пух меня и прах —
А я себе шагаю...
На кривых ногах!





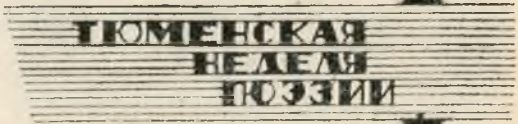
Листья грянули песню
Золотую свою.
Свежая пашня.

В этот праздник жизни
Разве можно
Жить без песен и без новизны
Если в небо алое заброшен
Золотой пожар моей весны?
Весенние костры.

Я вижу на ветвях сосны
Созвездья новых слов...
Предвесеннее.

А. Тарханов.

Почему — я не пойму, хоть тресни! —
Тянет всех читателей ко сну?
Может, взять да снова грянуть песню
Про весну
Иль просто про сосну...
А ведь в песнях — строки не простые,
Алые,
Частично золотые.
Может, в космос буду я заброшен
И присяду к звездному костру...
Вот где песен попою хороших!
Вот где новых слов я наберу!



Мы идем обживать неразведанный край —
 Неразведанный край, где живет горноста́й...
 Мимо кедров, где раньше лишь собо́ль скакал,
 Обнажая зубов своих мелких оскал.

Идем.

Если скачет огонь по тайге вороватую рысью...
 Вы браните меня, вы лесной росомахой рычите,
 Но порывистой ветра взлечу я над красной
 трибуной.

Огонь на огонь.

Ю. Шесталов.

Я тропю бреду в неизведанный край,
 У меня проводник — юркий зверь горноста́й.
 Пробираюсь сквозь чащу, где в детстве скакал,
 Обнажаю зубов своих дерзкий оскал.

Вороватую рысью по веткам скачу.
 Если встретится кто — росомахой рычу.
 Если встретится мне на дороге медведь —
 Куропаткой над лесом он хочет взлететь!

Вы браните меня, ну, а я — из огня.
 И гореть мне, друзья, до желанного дня:
 Перед музой своей на трибуну взлечу!
 До Парнаса добраться я — ой как хочу!

Привыкли месить глину,
Привыкли строгать доски...
Провинция.

Парни, понюхав «Московской»,
Дела вспоминают таежные,
По случаю, по таковскому,
Выпить, конечно, можно.
На вокзале.

В. Петров.

По случаю по особому
Выпью — я парень таковский!
Прислала одна особа
Бутылку «Особой московской».
Черпнул из нее вдохновенья,
Со старым чокнулся кедром.
И снова в свои владения —
Откупоривать недра.
В руке карандаш предлинный,
Под мышкой — кумир Маяковский.
С упорством, с размахом былинным
Строгою стихи, как доски.



ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

ВЛ. СУСЛОВ

Д Ы М О К

Над избушкой
Завитушкой
Подскочил дымок.
Он от холода
Свернулся
В синенький клубок.
С крыши кубарем скатился
Он бычку на нос.
А бычок слизнул клубочек
И с собой унес.

ЭКСКАВАТОР

Экскаватор,
Экскаватор
Поднял ковш
Стрелой горбатой
И завил в колечко дым.
Собирайтесь-ка, ребята,
Экскаватор поглядим!
Он, как крот, в карьер залезет

И для стройки круглый год
Громко челюстью железной
Землю черствую грызет.
Роет узкие траншеи
И ведет водопровод.
Он скрипит железной шеей,
Если камень попадет.
Над кабиной выпел реет,
Машет весело крылом...
Подрастайте поскорее
И работайте на нем.



ВЕЗДЕСУЩАЯ ПТИЦА

Р а с с к а з

На Тобольском тракте под самым Полуяновским кедровым бором приткнулась к речке небольшая деревенька. Два ряда домов старинной рубки подмигивали маленькими окошками.

Целый день над речкой звенели ребячьи голоса. То и дело мелькали мокрые загорелые тела. Радугой сверкали брызги воды.

На берегу, зарывшись в песок, лежали три мальчугана.

— Айда купаться, — предложил один из них.

— Не... надоело, — вяло ответил, шмыгнув облупленным веснушчатым носом, голубоглазый мальчишка и тут же добавил: — В бор бы сбегать. А-а, Семша?

— А что там делать? — грубовато спросил Семша.

— Шишки, поди, поспели. Уже две недели, как сторожит в бору старый Евсей.

— Ну и что ж, что сторожит. Не падают еще... Лазить за ними надо. Вчера и так засмолили рубахи.

— Скажи уж лучше, что боишься деда.

— Не боюсь, а просто неохота. Вот если ты полезешь...

— А что! И полезу... Достану, а тебе не дам,— вызываяще вскинув голову, ответил Митька.

— Полно вам спорить, — остановил их третий

— Привык чужими руками жар загребать, — не унимался Митька.

— Это я-то чужими? — воскликнул уязвленный Семен, вскочив на ноги. — Захочу, так все шишки один собью. Пошли!

Ребята попрыгали в речку, переплыли ее и помчались к лесной опушке.

Три старика сторожили бор со стороны тракта. Остальные стороны оставались без охраны. Зная об этом, ребята смело направились к ближайшим кедром. Под крайним они остановились и, запрокинув головы, принялись разглядывать черневшие шишки. Семен попытался залезть на дерево. Но тут из-за черемухового куста вышел старик с берданкой.

— Вы что же это, гольцы, делаете?

— Да мы... ничего... Мы только посмотреть пришли, — ответил за всех растерявшийся Семен.

— Знаю, как вы смотрите! Не жалко, что наложите по десятку, а жалко, что из-за вас колхоз понесет убыток.

— Какой убыток? — спросил Васька. — Лес-то ведь не сажень. Сам вырос.

— Не сажень! Больно грамотные. А сколько на кедре шишки растет, знаете?

— Да в хороший год с каждого дерева по возу берут, — ответил Семен.

— Ну вот! А в этом бору поболее пятисот гектаров будет. Да на каждом по триста деревьев. Вот и подсчитайте, грамотей, сколько можно собрать ореха! Много, да? А собираем мало. И все через вас.

— Ну, сколько мы там наломаем? — протянул Митька, выпятив губы и хлопнув на шее комара.

— Сколько! Вот вчера на нижнем конце погубили, почитай, с десятков возов, — не унимался дед Евсей.

— Да мы всего по несколько штук и сорвали с одного кедрача. Разве мы не понимаем...

Вы-то немного себе взяли, а за вами другие воры пришли и так обобрали целый гектар, что и на будущий год там ни одного ореха не будет. Шишка-то ведь два года растет. Вон возле спелых висят маленькие, зеленые. Это для будущего года.— И дед Евсей показал на маленькие шишечки, приткнувшиеся возле поспевающих.

— Что это за воры такие? Бессовестные! — возмутились ребята.

— Ронжа! Вон она скачет и поглядывает на нас, — показал старик на дерево.

Ребята обернулись. По кедрачу с ветки на ветку безбоязненно прыгала проворная птица величиной с галку. Красноватая грудка, сине-зеленые с фиолетовым отливом бока, черная шапочка с хохолком и такая же накидка. Веселая, назойливая и любопытная, эта птица целыми днями без усталости носится по лесу. Таежные обитатели прислушиваются к ее скрипучему крику: снова что-то увидела ронжа. Без причины она не кричит. На зайца и белку не обращает внимания. На коз и лося немного покричит, тараторя, и сразу же перестанет. Когда медведя и волка увидит, отчаянно заверещит и провожает, словно предупреждает таежных обитателей звонко, с перерывом. Встретив человека, подавателей об опасности. На лисицу и других зверей кричит резкие, короткие трели: «Внимание! Идет человек!» Вездесущая птица.

— Ну так вот, эта ронжа, — продолжал дед

Евсей, — такая пакостница, что и придумать хуже нельзя. Бывает, весь бор опустошит, не разбирает — спелая шишка или зеленая. Сорвет ее, два-три зерна вышелушит, остальное бросит. Спелую ищет. Так всю землю усыплет. А все отчего? Сигнал получила. Человека на дереве увидела и решила: пора шишковать. Вот и получается: был урожай, а собирать нечего, да и на следующий год мало останется. Туго тогда приходится белке и бурундуку. Откочевывают в другие леса. Двойной вред выходит — еще и промысел сшивается.

— Вон оно что! — смущенно почесал нос Семша. — То-то мне отец говорил: «Не ходи в бор, а то ронжа увидит».

— И мне мамка наказывала: выпорю, если в бору поймают, — признался Митька.

— Перестрелять эту ронжу надо! — заявил Васька.

— Зачем! Она — птица полезная, — возразил дед. — А вот за незрелой шишкой лазить не надо.

— Так ведь об этом не все знают.

— А давайте, мы расскажем. И ребятам нашей деревни, и в соседние сходим, — предложил Митька.

— Правильно, ребятки, — одобрил дед.

Довольные, мальчишки помчались домой.



Корень мудрости

С к а з к а

В густом лесу, под корнями старой ели была нора. В ней жили бурундуки. Красивые зверьки с полосатыми спинками. Взрослые — папа и мама — и маленький их сын — Бурун.

Бурундучок очень боялся выбегать из норы. Папа и мама часто рассказывали ему про опасности, которые подстерегают в лесу неопытных зверюшек. Только иногда, преодолевая страх, Бурундучок быстро-быстро пробегал к соседней норке. В ней жили другие бурундуки. У них тоже был маленький сынок. Звали его — Дук. Дома Дук всегда был один. Как-то любопытный Бурун спросил его:

— А где у тебя папа с мамой? Я почему-то никогда с ними не встречаюсь.

— В лесу. Корень мудрости ищут, — ответил Дук.

— Зачем?

— Ты что, не знаешь?

— Не-ет!

— Это такой корень, — стал объяснять Дук другу, — что если съешь его, станешь самым умным, самым смелым. Только найти его очень трудно. Но мама сказала — обязательно разыщет корень для меня.

— Вот бы такой корень мне! — прошептал Бурун, и глазки его засверкали, как два уголька.

В тот же день Бурундучок сказал отцу:

— Я такой боязливый, папа. Вот если бы вы с мамой нашли мне корень мудрости, я бы стал тогда самым храбрым и самым умным.

Папе-бурундуку очень не понравились эти слова. Он нахмурился и сказал:

— Запомни, сынок. Корень мудрости каждый должен найти сам. Понял?

— Понял.

В эту ночь в норке Буруна долго не спали. А утром, чуть только начало светать, Бурундучок отправился в путь.

По пути он заглянул к соседям. Позвал с собой Дука. Но Дук ответил:

— Зачем мне куда-то идти. Далеко да и страшно. Лучше я в норке посижу. А корень мне папа с мамой принесут. На том и расстались друзья.

Шел, шел Бурундучок и не заметил, как оказался в чужом лесу, далеко от родного дома. Тихо в лесу, темно, никого не видно. Только в вершинах высоких елей гуляет ветер. Шумят ели, о чем-то между собой переговариваются. Бежит Бурун, по сторонам оглядывается. Страшно ему. Но вот проснулись птицы. Зашелкали, засвистели; из-за куста выскочил зайчишка и давай лапками мордочку умыть, следом за ним — другой; по разлапистым веткам ели запрыгала рыжая белочка. И сразу Буруну стало веселее. Ему тоже захотелось спеть песенку. Встал он на задние лапки, вытянул длинную мордочку, запел. Но вместо красивой песни получился длинный, протяжный крик: «бурун-бурю». Попробовал еще. И опять ничего не вышло.

— Ты что раскричался, малыш? — раздался чей-то голос.

Бурундучок осмотрелся. На толстом высохшем суку сидел пестрый дятел и с любопытством разглядывал Буруна.

— Я хотел песню спеть, — нерешительно ответил Бурундучок.

— Ну, брат, — рассмеялся дятел, — в певцы мы с тобой не годимся! Я вот, например, совсем петь не умею. Зато играю.

— Играешь!? Как?

— А вот так...

И дятел быстро-быстро застучал своим длинным носом по сухому суку. Раздался звук, похожий на барабанную дробь.

— Ну как, нравится? — спросил «музыкант».

— Не очень! — сознался Бурун.

— Не очень! — рассердился дятел. — Ты вот послушай коростеля, как он скрипит, или ворону: уши заткнешь от такого пения.

Он отвернулся от Буруна и принялся так долбить сук, что только опилки полетели в разные стороны.

«Какой сердитый, — подумал Бурундучок, — даже страшно спрашивать про корень».

Он еще немного понаблюдал за работой дятла, а потом все-таки насмелился, спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где растет корень мудрости?

— Что-то не слышал о таком, — все еще сердито откликнулся дятел. — У сороки спроси. Она про все на свете знает.

— О чем это вы? О чем это вы? — застрекотала сорока, опускаясь на ветку.

Бурундучок объяснил ей, что ищет чудесный корень.

— Не видела! Не слышала! — протрещала сорока и полетела по лесу рассказывать про Бурундука, который ищет корень мудрости.

— Тик-тик-тик! — снова застучал дятел клювом. Кусочки коры посыпались на землю вместе с жучками. Откуда-то слетели синицы и проворно съели насекомых. Дятел перелетел на другое дерево, синицы — за ним. Бурундучок подумал про себя: «Какие хитрые. Дятел трудится, а они на готовом живут».

Только подумал так Бурун, как одна синица громко пискнула. Дятел перестал долбить ствол. Испуганно ози-рался: «Что случилось? Где?» Теперь уже все синицы запи-щали и разом разлетелись. Это был сигнал тревоги. Мель-кнула огромная тень. Ястреб. Дятел юркнул за дерево, и хищная птица бросилась на Бурундучка, который сидел на поляне и недоуменно следил за птичьим переполюхом. Большая серая птица с светло-желтыми глазами вначале не показалась Буруну страшной. Но когда когти ястреба должны были уже вот-вот вонзиться в его спинку, он вдруг понял, какая опасность грозит ему. Однако бежать было поздно. Не помня себя от страха, Бурун высоко подпрыгнул и вцепился в хищника. Ястреб не ожидал от зверька такой прыти. Он испуганно рванулся ввысь и с громким криком скрылся из виду.

Тотчас Бурундучка окружили синицы, дятел.

— Жив? Здоров? Жив? Здоров? — затараторили все наперебой. — Какой молодец! Какой молодец! Ястреба победил.

— Я и не знал, что ястреба надо опасаться, — ответил Бурун, приглаживая помятую шубку. На синиц он смотрел теперь с уважением. Оказывается, недаром они кормятся возле дятла. Когда дятел, увлеченный работой, не видит и не слышит ничего вокруг, синицы охраняют его. Интересно.

Попрощавшись с птицами, Бурундучок скрылся в траве...

Солнышко уже поднялось высоко, когда Бурун присел отдохнуть. Он сильно проголодался. «Хорошо дома, — взды-хал Бурундучок. — В кладовой какой только еды нет. Папа с мамой еще с осени запасли. Все разложено в строгом по-рядке. В одной кучке — кедровые орешки, в другой — пшеница, в третьей — просо и еще много всяких вкусных зерен. Что хочешь, то и грызи». Вспомнил он это и так ему захотелось домой. Но возвращаться, не найдя чудесного кор-ня, Бурундучок не мог. «Нельзя, засмеют. Скажут, нахвас-тал, а сам струсил, испугался в лесу. Слова не сдержал».

Еще раз вздохнул Бурундучок, слюнку проглотил и дальше побежал.

— Ой, не раздави! — пискнул кто-то у самых его ног.

Посмотрел, а в траве — маленькое гнездышко и в нем четыре желторотых птенчика.

— Кто вы? — спросил их Бурун.

— Пеночки!

И пеночка-мать тут как тут.

— Тюить! Тюить! Что тебе надо? — испугалась она.

— Не бойся. Я не трону, — поспешил успокоить птичку Бурун. — Я нечаянно наскочил на гнездышко. Не найдется ли у вас зернышка? Мне очень хочется есть, а найти ничего не могу.

— Зернышка нет, — ответила пеночка. — На вот, съешь это. — И она бросила Бурундучку кузнечика. Бурун понюхал кузнечика, поморщился.

— Фу, что вы едите!

— Если бы все птицы, — сказала ему пеночка, — питались только зернами, насекомых бы развелось так много, что они поели бы все деревья и всю траву. Я своим детям за день приношу столько гусениц, паучков, мух и жучков, что, если их сложить вместе, получится кучка раз в пять больше меня самой.

Птенцы запищали. Разговорчивая пеночка спохватилась:

— Проголодались? Сейчас, сейчас! — И крикнула Буруну:

— Прощай, мне некогда!

— Подождите! Я ищу корень мудрости! Не знаете, где он растет?

Пеночка с любопытством посмотрела на него.

— Так это про тебя в лесу говорят? Вон ты какой!.. Нет, про корень мудрости я не слышала. — Еще раз попрощавшись, она полетела. Но тут же вернулась.

— Послушай! В прошлом году в березнячке сойки да кедровки прятали еловые шишки. Эти птицы кладовых своих не помнят, кто чью найдет, там и питается. Бывает, что

и белка воспользуется таким складом. А те в свою очередь ее запасами лакомятся. Белка тоже забывчивая. Поищи. Может, найдешь. Перекусишь. Во-он туда беги.

Искать пришлось долго. В конце концов тонкий нюх бурундука учуял аппетитный запах. Хорошо поел Бурун. Даже про запас набрал орешков. Мешки у него за щеками. Целая горсть орешков туда вмещается. В них-то и таскает бурундук к себе в норку пищу.

Только собрался Бурундучок дальше бежать, раздался громкий треск сучьев. Испугался Бурундучишка, влез на дерево. Притаился, сердечко у него колотится. Кто это? Смотрит — вышел из чащи огромный косматый зверь, а с ним — два детеныша.

— Ку-ку! — послышалось над головой. По крику догадался Бурун — кукушка. — Медведица это с медвежатами. Нам она не страшна, — объяснила птица.

Не успел Бурун спуститься с дерева, как рядом с ним упало яичко. На земле лежали осколки тонкой, в голубых крапинках скорлупки и мертвый птенчик.

Кукушка слетела с дерева, внимательно осмотрела разбившегося птенчика, потом взглянула вверх, на гнездо, из которого он выпал, и сказала:

— Припоминаю. Кажется, в это гнездо я положила свое яичко.

— Так это ваше гнездышко? Как жалко. Птенчик разбился!

А кукушка засмеялась:

— Сказал тоже, мое... Да кукушки гнезда не вьют.

— Чье же оно тогда? — удивился Бурундучок.

— Каких-то птичек.

— Но вы сказали, что положили туда свое яичко?

— Ну так что! Положила. А хозяйка этого гнезда позаботилась — высидели из него птенчика. Кукушонок выклевывается раньше всех. Первые дни он только тем и занимается, что все из гнезда выкидывает: и яички, и птенцов. корм достается ему одному. Молодец, не правда ли?

Кукушка довольно засмеялась. Но повеселиться вволю ей не пришлось. Только перья замелькали в воздухе.

— Вот тебе! Вот тебе, кукушка-вертушка! — кричал Бурундучок. — Не бросай детей! Не разводи разбойников!

С большим трудом вырвалась кукушка из цепких лапок Буруна. Все перья повывергивал ей зверек. А без перьев птица летать не может. Убежала в траву. Ждать, пока новое платье вырастет.

А Бурун снова в дорогу отправился. Теперь ему уже не так страшно. Многое знакомо. Вон по дереву скачут крошечные желтоголовые королики, бойкие синицы из кустов выглядывают.

— Послушайте, — окликнул птичек Бурун, — не знаете, где растет корень мудрости?

Птички подумали, посоветовались и посоветовали ему спросить про корень у совы. Она много видела на своем долгом веку. Может, и про корень знает. Рассказали, где ее найти.

— Да смотри, будь осторожней, как бы она тебя не съела! — предостерегли они Бурундучка.

И снова побежал Бурун. Вот и старое дерево, в дупле которого сова устроила свое гнездо.

Взобрался Бурун на дерево, заглянул в дупло. Двое птенцов таращат огромные глаза. Совсем взрослые, вот-вот вылетят. За ними — птенцы поменьше, а дальше — совсем маленькие — пуховички.

Увидев разных совят, Бурун очень удивился: ни у кого из птичек он не видел такого.

— Эй, сова! — окликнул он дремавшую на соседнем суку птицу. — Почему у тебя птенцы неодинаковые по возрасту?

Сова сначала сердито щелкнула клювом: «Поспать не дадут хорошенько!» А потом объяснила:

— За короткую летнюю ночь я не смогу всех накормить. — Вот и высиживаю птенцов по очереди. Сначала од-

ного, двух. Потом уже легко. Старшие согревают младших и высиживают остальных не хуже меня.

— «Умная! — подумал Бурун.—Такая, наверное, и про корень мудрости знает».

Но сова тоже ничего не могла ответить утешительного. Попрощался с ней Бурун и снова в путь-дорогу.

Долго бродил Бурун по лесу. И у зверей, и у птичек спрашивал про чудесный корень. Никто не знает, где он растет. Вот уж и лес кончился. Остался темной полоской на горизонте. Впереди лежала степь. Чужая, незнакомая. Было раннее утро. В степи гулял теплый ветерок. Пахло полынью. И вдруг Бурундучок увидел впереди и вокруг себя маленькие столбики. Откуда они? Только что ничего не было. Присмотрелся — да это вовсе не столбики — суслики. Проснулись суслики, вылезли из своих норок и сели на задние лапки. Рады солнцу, помахивают пушистыми хвостами и как-то по-особенному чекают.

Увидели Буруна, в гости приглашают. Бурун в одной норке пожил, в другой. Отдохнул от дороги. С сусликами поиграл.

— Оставайся зимовать с нами, — приглашают его суслики. — У нас хорошо, тепло.

«Зимовать!» — Это слово встревожило Бурундучка. Оказывается, как долго он пробыл в пути. Лето уже кончается. А корень мудрости так и не нашел. Нечего делать. Пора возвращаться домой.

Наконец настал день, когда возмужавший и окрепший Бурун очутился в своем лесу. К его норке сбежались звёрюшки, слетелись птицы.

— Бурун, Бурун вернулся! — Шумят, щебечут. Всем хотелось поздравить Бурундучка с возвращением, узнать про корень мудрости.

— Где же Дук? — спросил Бурун, не увидев среди собравшихся своего друга.

— Он не может прийти, — сказали ему. — Ослеп Дук, сидя в своей полутемной норе.

— Бедненький! — расстроился Бурундучок. — А корень мудрости ему принесли?

— Нет.

— И я не нашел! Искал, искал и не нашел.

— Ничего, сынок, — успокоил его отец. — Не огорчайся. Расскажи-ка лучше, где побывал, что узнал.

Рассказал Бурундучок о своих приключениях. Внимательно слушали его зверюшки и птицы. Головами качали, лапками, крылышками хлопали. Какой храбрый Бурун! Как много узнал! А папа-бурундук улыбнулся и сказал: — А знаешь, Бурун, ведь ты нашел корень мудрости!



НОВЬ ТЮМЕНСКАЯ В ОЧЕРКЕ И РАССКАЗЕ

Слова Ломоносова о том, что богатство, мощь России «прирастать будет Сибирью», цитировались часто. Знал их Короленко, для которого будущее и Сибири и всей страны лишь светилося надеждой в «Огоньках».

Помнил о них Чехов, отправляясь в край каторги, откуда привез по-чеховски глубокий вздох и неожиданные, на первый взгляд, слова: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

«Гиблый край», — безнадежно сказал Гарин-Михайловский, увидев вымирающие коренные народы Севера.

Эта Сибирь — в прошлом. Могущество России сегодня действительно «прирастает Сибирью». К словам Ломоносова мне хочется добавить отлично сформулированную мысль недавнего гостя Сибири французского журналиста Пьера Родьера:

«...Тот, кто ничего не знает о ней, не знает будущего нашей планеты. Сибирь станет самым мощным и самым богатым кра-

ем, который целиком перевернет мировое равновесие».¹

Эта Сибирь — новая, разбуженная — видна сегодня в любом своем уголке. «Уголки» эти меряют... Францией: в Тюменской области — от Урала до левобережья Енисея, от Казахстана до Ямала — укладывается три Франции. Население этого «уголка» учтено в песне, автора которой не знают:

Два, зато хороших, человека
На один квадратный километр.

Обь, Иртыш, тайга Западно-Сибирской низменности, тундра — о них знали давно. Знали: там лес, рыба, олени, пушнина. И нынче не потеряли ценности осетр и нельма, и все больше идет из тайги леса, и пушной промысел не оскудел. Но десять лет назад, осенью 1953 года, на берегу Сосьвы (эту речку славили гурманы: ах, сосвинская сельдь) ударил в небо фонтан газа. А три года назад про-

¹ «Правда», 1963, № 293.

славилась таежная Конда — на ее берегу скважина № 6 дала первый в Сибири промышленный нефтяной фонтан.

И сегодня уже не только геологи называют северные районы «площадями», словно забыв административное деление: «Сургутская площадь», «Игримский газосносный район», «Тазовские площади». Идет интенсивная промышленная разведка нефти и газа. И «на квадратный километр» необъятных «площадей» прибавляется населения. Это не только количественный рост — в тайгу и тундру пришли специалисты, люди, вооруженные знаниями и техникой. Лишь с ними во многие глухие поселки пришло электричество и радио. И, глядя на кочевника-геолога, кочевник-оленеvod понял, что иметь кроме чума еще и «базовый поселок» — удобно, хорошо. Об оседлости заговорили «вплотную».

Случалось, родители тайком увозили детей из школ-интернатов. И вовсе не потому, что «дикари», как иногда говорили о них в отделах народного образования. Возражения были убедительны:

— Одной грамотой как жить будут? Кто будет в тундре оленьей пасти, пушнину промышленять, рыбу ловить? Почему таким делам не учите?

Подоспел Закон о трудовом воспитании в школе. И ненцы, манси, ханты, коми послали опытных охотников и рыбаков учить детей делу.

И в это же время к грохоту дизелей на буровых присоединился грохот новости: от Ивделя к Оби, через болота и таежные речки ляжет железная дорога. Первая весна семилетки стала первым шагом строителей «северные джунгли».

Прошло два года, и легли

первые рельсы второй в Западной Сибири дороги в тайгу — Тавда — Сотник...

Это в одной Тюменской области. Новью этой живут сегодня люди огромного края. Каким же содержанием заполнится слово «новью», если только перечислить признаки ее по всей Сибири — новые месторождения железной руды, нефти, алмазов, новые гидростанции, новые железные дороги, новые города...

Трудно обживаются новые края. Не простое дело — огнать у тайги и болот место для дома и огорода. А для поселка? Для железной дороги с разъездами и станциями? Трудно осваивается новью этих мест и литературой, хотя более оперативные и вездесущие ее «братья» — газетчики — освоили уже и тайгу, и тундру, и «юр» и «кембрий». Поэтому естественны о Сибири новой очерк и документальная повесть, рассказ (не говоря о жанрах чисто газетных).

Первым очеркистом, взявшимся за сибирскую «нефтяную тему» был Е. Ананьев. Его репортажи, информации, фотографии и очерки о разведчиках сибирских недр появлялись в областных газетах нерегулярно: не раз автор оставлял редакционный стол и улетал к героям своих произведений. Работал сезон в геологоразведочной партии, еще сезон — техником-оператором геофизической разведки. «Наш штатный летописец», — шуточно называют Е. Ананьева разведчики.

В очерковую книжку «Остров нефтяных робинзонов» (Свердловск, 1961) вошла лишь часть материала, собранного за несколько лет. И книжка — продолжается.

В ней пока пять очерков, крепко связанных авторским

присутствием, общими героями и общей мыслью: кто ищет, тот найдет! Скажем лишь о некоторых. Начинается книга небольшим очерком «На Полярном Урале» — о труднейших маршрутах поисковиков. Еще нет открытий, еще ноют скептики, но в дерзкой уверенности землепроходцев слышится та сила, что позволяет автору назвать их открывателями. Их дела — преддверие открытий.

Второй очерк — открытие газа, «Северная находка». Автор знакомит с героями — вот Николай Андреевич Сирин, доктор геолого-минералогических наук, вот буровой мастер Григорьев и нефтяник-промысловик Худаверди Фаталы-оглы Кулиев, удивленный приглашением в Сибирь, где «нет промыслов». Короткое знакомство с директором Березовской конторы бурения А. Г. Быстрицким, молодым инженером Николаем Драцким. Все это — в начале очерка. Потом будет некогда!

Да, потом некогда: газ ударил из скважины неожиданно. И важнейшее открытие сразу стало огромной аварией. «Дырка» вертикально, в небо хлестала водой и газом. Покаленная вышка обрастала льдом. «Мощный гул сотрясал местность» — из скважины шел газ, около 700 кубометров в минуту, миллион в сутки...

Взволнованно и деловито, без громких фраз о подвиге и долге рассказывает автор о ликвидации аварии. Почти три месяца хлестал газ в небо. В декабре удалось, наконец, поставить превентор — газ пошел в сторону, в тайгу. Теперь можно и нужно освободить вышку ото льда, иначе скважину не «задавить».

Скупко говорит Е. Ананьев о том, как авария проверяла людей. Всего несколько строк —

но уже видны характеры. Буровой мастер собрал бригаду, объяснил задачу. Нужны четверо. Риск — смертельный.

«— Кто пойдет?

— Нашел дураков! Сам иди! — крикнул Семен.

И шагнули вперед — все. Мастер выбрал троих, повернулся к Семену:

— Обо мне речи нет. Пойду первым...»

Четыре дня скалывали лед. Погиб москвич Лютов, инженер-аварийщик, убило наповал глыбой льда...

Под огромным давлением пошел в скважину глинистый раствор. Но только в июне 1954 года фонтан одолели...

Очерк драматичен. Это высокая драма коллективного подвига. Но несмотря на то, что драма иногда вырастает до трагедии, в очерке отчетливо слышна радость открытия, гордость победой. Таков характер и других очерков Е. Ананьева — «Остров нефтяных робинзонов», «Первый шаг», и, в особенности, — «Под стальным парусом». И это не «литературный прием», а сознательное осмысление, публицистическая обработка документального материала.

Такой романтический сплав трагедийности и оптимизма стал содержанием очерка Л. Шинкарева «Большая нефть Лены»¹. Здесь нет необходимости говорить о нем подробно. Важно совпадение с «Северной находкой» — скважина близ села Марково, отдав нефть, взяла жизнь. Погиб газокаротажник Виталий Ефименко.

Очерк Л. Шинкарева не ставит проблем. Автор решал другую задачу — рассказать об открытии новой сибирской нефти.

¹ «Сибирские огни», 1963, № 4.

У Е. Ананьева к этой задаче добавилась еще и забота о буднях, о быте открывателей, размышления о трудностях, рожденных не только Севером, болотами, тайгой, но и недостаточной организацией снабжения экспедиций, подчас бюрократизмом. Но и эти проблемы часто ставятся лишь косвенно.

А к проблемам Е. Ананьев был ближе, чем И. Осипов, автор большого очерка «Разведчики сибирской нефти». ¹ В книжке «Остров нефтяных робинзонов» много героев, фактов, драматических и веселых событий. В очерке И. Осипова лишь одно событие — автор пытается попасть в бригаду Семена Никитича Урусова с катером, везущим гусеничные «башмаки». Бригаде Урусова нужно тащить через болото часть оборудования. Обычные траки не держат в трясине. А широкие «башмаки» лежат на корме «Урая». Грузный катер по пути берет на борт 12 человек из бригады Урусова. Катер осел. Повариха Валя грузит продукты — банки, коробки, ящики. Капитан катера мрачнеет, но что делать? На судне нет ни одного лишнего килограмма.

Вторая главка очерка сразу начинается проблемой хозяйствования в тайге. Катер идет с трудом — реки и речки засорены. Леспромхозы хозяйничают на них варварски: тысячи брошенных, гниющих стволов по берегам, ползатонувшие бревна плывут навстречу судам — враждебные, как торпеды. Этими топляками постепенно устилается дно реки... Проблема вырастает до значения государственной (это касается не одной-двух рек сибирских); гибнут ежегодно тысячи кубомет-

ров леса, затрудняется судоходство и сплав, портится вода, деревянное дно закрывает нерестилища ценнейших пород рыбы.

«Урай» вернулся, не сумев пройти мель, образованную затонувшим лесом. Лишь после дождя, когда поднялась вода, «башмаки» привезли к Урусову, на Мульмые.

Буровый мастер С. Н. Урусов, депутат Верховного Совета, ныне Герой Социалистического Труда, говорит о проблемах не менее важных:

— Сейчас нужно ускорить разведку, подсчитать запасы, чтобы начать разработку... Нужно выиграть время, а мы растрачиваем его в этих проклятых болотах... Вот в Антарктику послали «харьковчанку». Идет она и по снегу и по болоту, как по асфальту. Есть и грузовые автомобили с какими-то особыми широкими шинами, не погружаются они в трясину. Есть и амфибии большой грузоподъемности — они нам тоже во как пригодились бы. Есть и вертолеты... Подцепит такой воздушный грузовик вышку и перенесет... Конечно, придет сюда эта техника... Только скорес бы двинули ее в наши края. Жаль, время уходит...»

Необходимо отступление. Оно — о явлениях, которые один мой знакомый, геофизик, назвал «возмутительным героизмом». Это было весной 1960 года. В Мульмые.

Буровики «продырявили землю» на заданные тысячи метров. Все. Нужно переезжать на новую точку. Иногда это 10—15 километров, иногда 50. Приходят обычно монтажники, две недели (рекордный, непланный срок) разбирают вышку. Трактора увозят ее по частям на новое место. Там монтируют... Все это долго, страш-

¹ «Новый мир», 1962, № 3.

но трудосемко, опасно. Буровики поневоле «отдыхают» месяц. На моих глазах урусовцы закончили бурение одной скважины за 12 дней вместо сорока. И вот — перебазировка.

Томенские разведчики и монтажники стали перевозить вышки без демонтажа. Это я и видел: гусеничные тележки — под платформу, растяжки от вышки к тракторам (с четырех сторон) и два-три трактора-тягача. Зрелище великолепное: грозно покачиваясь, стопятидесятитонная громада в 40 метров высотой медленно плывет по тайге; перед головным трактором пятится задом бригадир монтажников и дирижирует направлением и скоростью шести тракторов.

Молодой кинооператор, прилетевший вместе со мной, бегал вокруг и радостно причитал:

— Какие кадры! Ах, какие кадры! А? Это же ай да ну! Что делают! — и он взбирался на пенек, снимал, вскакивал на пути у трактора и валивал — в телеобъектив ему казалось, что сейчас его раздавит широкая гусеница.

Тогда-то и сказал один из «болельщиков» — геофизик:

— Снимай, друг, снимай. Это кадры возмутительного героизма.

На мой искренне недоуменный вопрос ответил:

— Строил бы сейчас кто-нибудь железную дорогу с тачкой да лопатой, как у Некрасова, — что бы ему сказали? Растяпа. Дурак. Есть экскаваторы, бульдозеры, путеукладчики, самосвалы, а ты с лопатой. Сколько же лет ты строить будешь? Так ведь? Сейчас это было бы на грани вредительства. Вот — то же самое.

— Возмутительный героизм?

— Нет, эти ребята — герои, без дураков... И главный

герой — дирижер, Миша Бадиков. Три километра в час пятками вперед! И так — до конца, все 20 километров... А нужны облегченные буровые установки — специально для болот. Они в природе есть! На воздушных парадах вертолеты таскают целые дома, а?.. Героизм поневоле. И возмутительное безразличие где-то в управлениях министерства. Получается, как с торговлей: в тундру зонтики и босоножки, а валенки на Кавказ.

О перевозке вышек без демонтажа рассказал Е. Ананьев в очерке «Под стальным парусом». Случай был еще более опасный, сложный и героический: вышку целиком спустили с берега на понтоны и, буксируемая катерами, она плыла по Оби. Интересно, об этом рассказав, раскрыв напористый характер Николая Драцкого, «зубами вырвавшего» разрешение на риск, Е. Ананьев не увидел проблемы, поставленной в очерке И. Осипова. Нужно добавить, что через год после опубликования очерка «Разведчики сибирской нефти» у нефтеразведчиков Сибири появились, наконец, большегрузные вертолеты.

Отбор и обобщение фактов позволяют И. Осипову ставить проблемы, имеющие большое пароднохозяйственное значение. Это очень отчетливо видно в главе о партийном собрании Шаимской экспедиции, где «мелочи» оборачиваются вдруг миллионами рублей.

Бурение скважины обходится в 50—80 тысяч. А из-за сторулевого инструмента иногда нельзя взять керн — бурение идет впустую. И коммунисты говорят, что эти деньги — из государственного кармана, их считать надо. Собрание поднимает «мелкие вопросы», а они на

глазах вырастают в государственно важные. Вот идет речь о скважинах со слабым притоком нефти:

«— Можно ли бросать такие скважины?.. Поработать, применить соляную кислоту, гидравлический разрыв пласта, все испытать, чтобы увеличился приток. Отворачиваться от таких скважин — это настоящая бесхозяйственность. Придут промысловики — они непременно возьмутся за них».

Горький писал: «Нужна верность не фактам, а психологии фактов». От очерков Е. Ананьева очерк И. Осипова выгодно отличается именно осмыслением, «психологией» каждого факта: почему он и что из него следует? Поэтому главная мысль очерка — проблемна. Ею живут разведчики сибирских недр. Она окончательно сформулирована в последней строке: «Только бы сократить дистанцию, которая отделяет разведку от промышленной разработки». На эту проблему «работают» все другие, частные проблемы.

Если знакомиться с сегодняшней Западной Сибирью, с ее новью, то начинать это надо с очерков Е. Лучинецкого. Назовем два: «В краю Полярной звезды»¹ и «Человек идет к солнцу».² К ним более всего приложимо горьковское определение очерка как жанра «между исследованием и рассказом». Путевые записки сочетаются в них с историко-географическими экскурсами, проблемы сегодняшнего дня — с ясной и дальней перспективой.

Первый очерк — о сегодняшней тундре, второй — о строительстве железной дороги Ивдель—Обь. И в том, и в другом

видна кропотливая подготовка автора к путешествию, изучение истории этих мест. И он рассказывает нам — выразительно и немногословно — историю освоения тундры, называя имена, даты, деревни, дороги. Собранные в его очерках сведения добыты не без труда, часто почерпнуты из газет и географических журналов прошлого века, из дневников полярников и землепроходцев. Уже в этом — несомненная ценность очерков Е. Лучинецкого.

Вместе с автором мы идем по Заполярью, где 250 километров — это рукой подать («у нас километры короче, да в них метры длинней»), и он, разговаривая с новичком на Севере, рассказывает трудную и романтическую быль о вечной войне человека с природой. Или вместе с автором мы слушаем эту быль из уст «аборигена» — рыбака из Нового Порта. И нам уже виден весь Семен Аверкиевич — типичный русский человек, обживший дикий край. Говорит он даже с некоторым сожалением, но без зависти.

«— А только того Северу, которого мы тут, старжили, хлебнули, — того Северу нету!»

Да, кажутся уже далекими те годы, когда ненцы ели «вершки» у картошки, посаженной секретарем райкома партии, когда никто не хотел идти на ферму, куда привезли «неведомых зверей» — коров. Нынче заполярные доярки Ямало-Ненецкого округа часто идут впереди доярок юга области, наданная по 2000—2500 литров от коровы в год... «Самоед» стал ненцем. а ненец в переводе на русский — человек.

Широко показывает Е. Лучинецкий переход на оседлость, помощь государства северянам. Но решение проблемы оседлости рождает новые, порой нежиз-

¹ «Сибирские огни», 1961, № 7.

² «Сибирские огни», 1962, № 1.

данные проблемы. Ненец получает рубленый дом, а рядом ставит чум. Почему? Потому что дом — домом, а кочевать, пасти оленей — надо. Во-вторых — топливо. Дом натопить — дрова нужны, в чуме же горят прутья тальника и просто мусор. А дрова привозные. И не зря Яр-Салинский «голова» озабочен: баллонов бы с отработанной нефтью добыть, два-три баллона на зиму в каждый дом — для отопления.

«— Сколько мы лесу переводим — ужас! Не дрова горят, а денежки!.. Целые поселки, считай, в дымоход выпускаем...»

Героической повестью назвал Е. Лучинецкий большой очерк о строителях магистрали Ивдель—Обь. Но повести не получилось, получился очерк, ошибки которого весьма характерны для многих очерков — особенно местных, тюменских авторов.

Материал — интересен. Интересна история тех мест, где проходит дорога, убедительно обоснование экономической необходимости строительства, любопытны многие наблюдения автора над людьми, некоторые «случаи»... Но многие факты — «случаи» — лежат в очерке сами по себе, без осмысления, без связи с другими фактами.

Е. Лучинецкий хронологически описывает много событий. Все они кажутся ему одинаково интересными и значительными. В результате исчезает главная мысль, рассыпаются намечившиеся было проблемы. Верность фактам становится их хронологией, а правда «психологин фактов» пропадает. И мы уже с некоторой досадой читаем длинное описание тяжелых трудностей и бездорожья, и с недоверием смотрим на очень уж привычную историю

Саньки Векшина, которого автор встречает и в первый и в последний день своего путешествия, — Санька словно подсунут азбукой композиции, чтоб автор смог окончить очерк. Возможно, это домысел. Право очеркиста на него теперь никто уже не отрицает. Но домысел должен быть органически увязан с документальностью. Только тогда этим правом можно пользоваться. У Е. Лучинецкого документальность отрывается от художественности — нарушается единство очерка. Нередко это происходит и в самом стиле — в авторской речи, в речи героев. Тон авторского ложного пафоса подхватывает, например, инженер и начинает говорить «художественно», возвышенно и... разностильно:

«— И болото, будь оно проклято!.. А тут еще погода задурила... Ослепительные молнии раскалывали плотные облака. Почти непрерывно дожди обрушивались на тайгу...»

Именно такие очерки (интересные материалом, «читательные», но небрежно написанные) чаще всего и вызывают спор: литературный это жанр или нет — очерк? Порой в редакциях газет и журналов критерий вульгарно прост: документально, интересно по фактам, по размеру больше 500 строк — и над корреспонденцией (действительно интересной) или над статьей (пусть даже проблемной) появляется неоправданная литературная рубрика — «очерк».

За этим скрывается часто неуважение к жанру, отношение к очерку, как к «полуфабрикату». Но не скрупулезной документальностью существует очерк.

Лучший тому пример — очерки В. Овечкина, В. Тендрякова, С. Залыгина... Не документаль-

ные (без адреса, без подлинных фамилий) «Районные будни» — очерки. И если к рассказу мы подходим с ключом так «могло быть», то к ним — с ключом «так было». Это обусловлено авторским знанием жизни, умением увидеть рождение проблемы, хозяйской заинтересованностью в делах колхозников, в делах партии. Именно это позволило В. Овечкину, например, первым в литературе назвать проблему такой оплаты труда, при которой большой урожай механизатору невыгоден, понять тему «двух хозяев на одной пашне» — МТС и колхоза.

Очерки В. Овечкина, В. Тендрякова, С. Залыгина, В. Солоухина, Г. Троепольского, лучшие из приведенных здесь очерки Е. Анапьева и Е. Лучинцевого, очерк И. Осипова говорят о том, что жанр этот не «полуфабрикат», не какой-то продукт первичной обработки фактов, а результат их осмысления, продукт особой, художественно-публицистической обработки, внимания к «психологии факта». И — безусловно — литературного мастерства, опыта.

Отбора и художественной обработки фактов, обобщения их и мастерства недостает многим литераторам-журналистам Тюмени. А журналист-писатель в молодой писательской организации области — самая распространенная фигура. Журналисты, пишущие очерки, рассказы, повести и стихи, — база роста организации.

Но странно наблюдать за их работой — возникает неожиданный вопрос. П. Горбунов, Д. Белогоров, С. Мальцев, В. Гоцфельд — газетчики. Они знают жизнь села и города, знают проблемы их, знают и людей. И в газетных жанрах это отчетливо видно. Чем же объяснить, что в их рассказах — нет это-

го? Недостатком мастерства? Да. Но не только. Думается мне, что повину в этом наивное и часто неосознанное стремление «оторваться от Тюмени, от географии» к так называемой «общечеловеческой» теме. «Уж сколько раз твердили миру», что «местных тем» не существует, а есть лишь недостаток мастерства. Это без труда обнаруживается в рассказах и очерках тюменских авторов. И прежде всего — в языке и стиле их.

Вот путевые записки В. Гилева — «Рабочая Арктика». ¹ Жанр очерковый. И требования к нему — те же, что к очерку. Но говорить подробно о построении этих записок не приходится: это хронология в чистом виде — от «судно идет в Арктику» до «...Сопочный», оставив позади Арктику, шел на юг». Обильные перечисления, повторения — и в событиях, и в языке. В очерке упоминается более тридцати фамилий — капитаны, механики, зверобои, стрелки и т. д. Чуть ли не каждому дана характеристика:

«Много испытал за свою жизнь... Аксенов. Позади восемнадцать навигаций... В Аксенове остается одна замечательная черта, в такой степени присутствующая, наверное, только ему одному. Это исключительно деловое спокойствие...»

«Старый механик... Байшев. Он плавает на Крайнем Севере уже четверть века...»

«...Старый полярник... Н. Алеев...»

«...Наваров, многие годы своей жизни посвятивший зверобойному промыслу...»

«...Бывалый северянин Вениамин Тюльканов...» И так далее. В итоге все три десятка ге-

¹ Альманах «Сибирские просторы», Тюмень, 1963, № 1 (9).

роев очерка — на одно лицо: все бывалые, все «многое» испытаны за свою жизнь» и всем свойственна черта, «присущая только одному Аксенову».

Этой бедности характеристик соответствует и бедность языка. Для выражения, например, какого-то начавшегося действия у В. Гилева более чем скромный выбор слов:

«И вот — курс в Арктику...»

«И вот заполнены пресной водой баки...»

«И вот уже шлюпка тащит карбас...»

А в повествовании стиль стандартной информации соседствует со стилем такой же стандартной «лирики»:

«Находясь вдали от Салехарда, вдали от Большой земли, зверобой настойчиво выполняют свои обязательства, и в то же время они скучают по дому, по семьям, по любимым».

«И вот» — продолжим мы — в результате два действительно важных и верных факта вызывают лишь улыбку.

Весьма «растрепан» стиль очерков П. Кодочигова, хотя по его очеркам и рассказам уже можно судить о пути автора к мастерству. Он умело и логично строит сюжет, в его рассказах есть истинно художественные детали.

Герой очерка «Дорогу осилит идущий»¹ Евстафий Ульянович Посоюзных постоянно озабочен и занят «усовершенствованиями». То он перестраивает телятник, то принцип «елочки» использует в автопилке, то проектирует откормочник со съёмной крышей, то ставит опыт, дабы «разоблачить» ученых, пишущих, что телят надо поить молоком, а не обратом, хотя по их же теориям «орга-

низм телят содержащиеся в молоке жиры не усваивает». Так предстает перед нами герой еще одной «нови» — нови отношения к труду. И эта новь особенно точно раскрыта детально вроде бы незаметной, сопоставлением общественного с личным. Автор с Евстафием идут домой. В дверях сеней хозяин предупреждает:

«— Осторожно! Тут у нас низко — все никак не соберусь переделать...»

И этой детали доверяешь больше, чем «парадным» словам автора: «И в передовой шеренге борцов за новое идет Е. У. Посоюзных. Смело, решительно шагает... Весь в поисках, раздумьях, в борьбе».

Такое «сосуществование» дежурной риторики с языком простым делает очерк похожим на современный автомобиль с тележными колесами. И происходит это именно от упорного отношения к очерку, как к «полуфабрикату», от небрежности. Это доказывает сам П. Кодочигов хорошим рассказом «Человек себя ищет»,² сделанным куда более внимательно и экономно. Прост и точен язык. Лаконична и отчетлива характеристика героя.

«Шестьсот рублей в месяц! Для начала пусть пятьсот. Сто уйдет на питание. Если не покупать одежду — на черта она ему в шахте, — не ездить в отпуск, то каждый месяц он сможет откладывать на сбернижку рублей четыреста. Через год у него будет четыре восемьсот, а через три — почти пятнадцать тысяч! От этих мыслей кружилась голова, а сон бежал прочь», — так размышляет Тимофей. Он едет в Воркуту.

«Шахта, чумазые, задири-

¹ Альманах «Сибирские просторы», Тюмень, 1962, № 1 (8).

² П. Кодочигов. «В ночной тишине», рассказы, Тюмень, 1962 г.

тые шахтеры не понравились Тимофею, а когда он поднялся наверх и выплюнул стукот черной пыли, совсем приуныл. Пятнадцать тысяч, дом, машина показались ему совсем не такими близкими...»

Тимофей отправляется «пытать удачу» на рыбные промыслы. Но и там люди не сочувствуют его мечтам. Его тормозат, переубеждают, но он все так же «прижимист» и запирает чемодан на ключ. А на судне читают книги, газеты, спорят. Тимофей с досадой, но прислушивается. И однажды услышал газетную статью о том, как «горячая струя воды, обжигающий тело пар разделили будку паровоза на две части». Обожженный машинист нашел в себе силы... и спас поезд, себя, помощника... Тимофей «примерился». Но как только воображение рисовало обжигающие клубы пара, «он не мог думать ни о ком другом, кроме себя, и «прыгал» с паровоза».

Убедительно показывает П. Кодочигов, как этот случай «засел» в голове Тимофея. Он думает о машинисте не раз, и не два. Он «искал... какой-то третий выход. Ему хотелось, чтобы машинист и поезд спас и не оборел при этом».

И постепенно герой, халтуривший раньше с «дикими бригадами», прозревает. Постепенно «даже мечты о собственном доме потускнели и кажутся пустой детской забавой».

Но вот главное испытание — пришла радиограмма, и экипаж узнает, что «у Генкиной матери дом сгорел. Все, как есть! До тла!» Собирают деньги — кто сколько может.

«Злость, обида овладевают Тимофеем. Его уже совсем за человека не считают... А что если взять и отдать Генке все, что есть? Все до копейки!.. А

что, если не возьмут?! Откажутся?»

Начинаешь волноваться за героя, и автор умело поддерживает это волнение:

«А если... если подумают, что он хочет деньгами откупиться, задобрить?»

«Салогн Тимофея гулко простукали по лестнице, метнулись по палубе», а читателю предоставлено право подумать о трудном рождении человека.

Почему же очерк нужно кончать непременным разжевыванием лозунга? Публицистичность? Но ее нельзя понимать так примитивно. В произведении художника, творящего «свой мир по законам жизни», публицистичность должна органически являться из глубокого знания жизни, из смысла факта, из проблемного сопоставления событий. Это относится к очерку, как и к любому литературному жанру. Об этом говорил А. М. Горький, требуя от очеркистов не криков «Слава! Слава! Ура!», а художественно убедительной документальности в рассказе о новой жизни. Такая документальность призывна без крика.

В литературном освоении обновляющейся Сибири участвует не только очерк, но и рассказ, если не говорить о стихах, которые нередко оказываются оперативней всех жанров. Очерк, рассказывая о конкретных героях в конкретных обстоятельствах, в художественных обобщениях в какой-то мере ограничен. И типов, характеров, раскрытия глубины отношений человеческих мы вправе ждать от рассказа.

Меняется география огромных пространств, возникают новые города, свежие и во многом непохожие на другие коллективы, ломается старый быт тысяч

людей, растет культура... Мы знаем это по газетным статьям и журнальным очеркам. Но ведь все это как-то влияет и на человека, на характеры и взгляды. Есть ли в рассказах характер, рожденный этой новью? Или, скажем осторожнее, — рождающийся в ней. Нет. Только намеки. Этот характер есть, например, в Николае Драчком (из очерков Е. Ананьева), Виталии Ефименко (из очерка Л. Шинкарева), в Шадрине (из очерка П. Осипова). Они влюблены в Сибирь завтрашнюю, потому что сегодня она — их трудное, требующее огромных сил души и тела, счастье.

В рассказе такой характер чаще всего «ускользает»... Пожалуй, лишь в прозе писателей народов Севера (И. Истомин, Ю. Рытхеу, Ю. Шесталов) герой — человек сегодняшнего дня, житель разбуженной тайги и тундры. Мне уже приходилось слышать оправдания: им, де, легче — народности Севера за пять-десять лет проходят такой путь, на которое цивилизованное человечество тратило века! И сдвиги — видней, и писать о них — проще. Но при этом забывают, что несравним и литературный их опыт с громадным опытом русской литературы, который позволяет видеть и глубже и дальше. Даже если говорить лишь о рассказе.

Для многих авторов, издаваемых в Тюмени, опыта этого словно не существует. И поэтому «изобретаются часы» с претензией на приоритет. Горько усмехался этому 40 лет назад Маяковский: «Вообще в России издревле было, что каждый год кто-нибудь приносил часы, вновь изобретенные в Сибири»...

Стремление «изобрести» нередко уводит от жизни, от современности. А недостаток ма-

стерства, литературной техники губит некоторые произведения окончательно. Поэтому, например, большой опыт газетчика и даже знание сельской жизни не спасли от неудачи повесть П. Горбунова «Родник». После «Родника» вышел отдельной книжкой рассказ его «Мариула».¹ И опять — многословие, небрежность стиля, скудость характеров, примитивность: чисто внешние приметы современности (самосвалы, vibrаторы, бульдозеры), «экзотичность» героини (что изменится, если она будет не цыганкой? Ничего!), пунктирно слабый рисунок ее характера (вот абзац — в нем признак нежности, вот — легкомыслия, а вот — властности). И штампы. Штампы, от которых не спасет книжку никакой редактор (если он не в силах спасти от нее читателя). В ярком тексте стандартную фразу «выловить» можно. Но стерты, серые слова складываются в такой текст, где штамп не виден. И идут протокольные записи: «она заняла должность буфетчицы»... «Не смогла до конца порвать»... Идут «переживания» и штампованные глаза — в ассортименте: «похожие на чистое небо», «сверкнувшие молодо и (конечно же!) задорно», «открытые», «гневно сверкнувшие», «горящие» и т. д. — под «черными, с надломом (ну, как без него в литературе!) бровями». Нет у автора своего стиля — и набором даже разнообразных штампов не прикрыть бедность языка...

Характер ярче всего проявляется в конфликте, в каком-то проблемном столкновении. Но о каких же проблемах и характерах в произведениях многих тюменских авторов можно говорить, если, к примеру, послед-

¹ Тюмень, 1962.

няя книжка рассказов В. Еловских¹ — образец «литературы ни о чем»?

Вот «Четверо в дороге». Девушка с попутным «газиком» добирается до места работы. Ее попутчики — балагуры. Она — строгая. Вот и все. Да, есть еще «яркая фигура» — дед Маркел, тысяча первый отпечаток с деда Щукаря (для «оживляжа», как говорят на радио). Что хотел сказать автор? Какие чувства вызвать у читателя? Недоумение и досаду? Это — удалось.

Старик — пенсионер, режущий «правду-матку» начальству, не желающий на пенсии жить спокойно, добровольный контролер и советчик — штамп уже не только литературный. Он уже и в кино штамп — на обычном экране и на широком. Но В. Еловских его только что открыл и написал «глубокомысленный» рассказ «Внештатный инспектор». Открыл он и «любовь наперекор сплетням» — рассказом «В чайной»... Легко литератору идти там, где прошли сотни — тропа торная. Только зачем? Искусства на ней не сыщешь — первые взяли, а хлеб легкий, чужой — горек...

С людьми происходят события, порой — приключения. Но они не переживают их. Исчезает характер. Не осмысливает событий и автор. В результате, подняв глаза от прочитанного рассказа, обманутый читатель спрашивает: «Ну и что?»

Умение увидеть характер, написать его — трудное умение. Но без него — нет писателя, как бы он ни был трудолюбив и плодovit. Есть оно у часто небрежного П. Кодочнигова, даже если судить по двум рассказам — «Человек себя ищет» и

«В тиши ночной». Есть оно и у О. Черновой. И этому стоит порадоваться в книге рассказов «По закону», в «Возвращении» умение это казалось случайным, характеры рассыпались, пульс сюжета был мерцательным, беспорядочным.

«Возвращение»² — тому пример. Сбежавший из заключения Семен Зотов узнает от матери, что ему полагается орден за Отечественную войну. И возвращается досиживать, процветенный. Что ж, могло быть. Но «правды случая» мало, когда нет правды характера. Когда же в характере озлобленно-го на все и всех Семена произошел перелом? Чем он оправдан? Передумано в тюрьме? Нет, из тюрьмы он ушел «волком». Встреча с мальчишкой? Нет, «папан» его подвел было. Встреча с матерью? Возможно, но для «волка», каким он нарисован вначале, этого очень мало... Орден? Да, говорит автор. Но не убеждает.

Но вот — «След, оставленный в тундре»³ дающий право говорить об О. Черновой, как о литераторе, по большому счету. Не все в нем благополучно, но есть главное — характер героини, от лица которой идет рассказ.

Девушка выросла в семье, где строгость поддерживалась порой избиением детей. И росла она не только в семье, но и в школе, и среди однокурсников. Выросла, окончила медицинское училище и плывет теперь парходом на Север. Одна! Удивительное чувство свободы (пока лишь свободы, несамостоятельности): танцы на палубе радостней, чем даже на выпускном вечере!

¹ «Четверо в дороге», рассказы, Тюмень, 1963.

² О. Чернова, «Возвращение», рассказ, Тюмень, 1962.

³ Тюмень, 1963.

«Меня радовало собственное озорство, и только теперь я поняла, что опьянела от свободы, оттого, что рядом нет ни отца, ни Лиды, никто не стучит пальцем по столу, не следит, что и как я делаю. Пожалуйста, поступай как хочешь, можно даже с Шишкиным целоваться — никто не укажет!»

Этому состоянию веришь, хотя здесь автор и не заботится растолковать тебе характер Сони. Он есть уже в ее словах, поступках, отношениях к людям и своему делу.

В рассказе о буднях фельдшера, путешествующего по тундре с красным чумом, мы видим, как этот характер определяется в осмысливании событий и восприятии людей. Нахал и балаболка Лешка оказывается надежным парнем, которому можно доверить даже свою жизнь. В этом, к сожалению, автор несамостоятелен. «Литературщина» становится особенно очевидной, когда появляется Лешкин «антипод», Валерий Петрович — чистюля, интеллигент, а в конечном счете — эгоист. Конфликт «любовой» и характеры противопоставляемых героев схематичны. Но удивительное дело: даже этим схемам дает жизнь взволнованно и тепло написанный характер Сони.

И именно поэтому «След, оставленный в тундре» следует признать удачей О. Черновой, хотя язык ее порой не свободен от оборотов несколько канцелярских, повествование порой многословно, перегружено деталями. Приведу лишь один пример — первую встречу с Лешкой на парохде:

«... Природой любуетесь? — спросил, подходя. Шишкин и, широко улыбаясь, облокотился о поручни.

— Да... — прошептала я. Голос у меня вдруг пропал.

Почувствовав, что краснею, я отвернулась. Зимой исполнилось мне восемнадцать, но еще не было у меня знакомого парня».

Все понятно без разжевывания. Но у О. Черновой — еще две строки: «Мне льстило внимание Шишкина. Радостно и тревожно становилось на душе». И строки эти лишние не потому, что без них понятно состояние Сони, а потому, что они («льстило» и «радостно—тревожно» — штамп) снимают правдивую взволнованность героини. Примеров таких можно привести немало — автор, словно опасаясь, что читатель не поймет движения души, добавляет «мораль», мешающую эмоциональному восприятию.

И все же — удача О. Черновой в доподлинном знании жизненного материала, в точных деталях сферного быта, в четко определенном авторском отношении к героям и событиям. И это не удивительно: она сама прошла на Севере «школу жизни», и прошла ее медицинским работником. В этом, пожалуй, главное условие ее успеха.

Есть у тюменских писателей, журналистов темы, герои, проблемы и для очерков, и для рассказов. И если в очерках есть и сибирская новь и современный герой, то этого почти нельзя сказать о других жанрах. А важность и необходимость темы обновления края доказывать не требуется. С этой темой литераторы Тюмени должны выходить за пределы области, к широкому читателю: им есть о чем рассказать — на огромных пространствах Западной Сибири значительных событий, удивительно интересных людей и дел становится больше с каждым днем.

ТОБОЛЬСКИЕ НАХОДКИ

Тобольск — один из старейших городов Сибири. Сотни тысяч документов, хранящихся в его архиве и музее — немые свидетели давно минувших дней.

Исследователи упорно работают над архивными материалами Тобольска. Их находки часто являются маленькими повестями о необычайно интересном, поучительном в истории Сибири, страны.

«Завтра» Ганнибала

В романе Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого» есть слова:

«Послушай, Ибрагим, — говорит Петр, обращаясь к Ганнибалу, — ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра, что с тобой будет, бедный мой арап?..»

Свое произведение Пушкин не окончил. Он рассказал только о первой половине жизни своего прадеда Ибрагима Ганнибала. Сын абиссинского князя, Ибрагим мальчиком попал в качестве заложника в Константинополь и отту-

да был привезен в подарок Петру в Москву. Известно, что Петр любил и сам воспитывал Ганнибала. Ибрагим был послан во Францию для обучения военным наукам, дослужился там до чина капитана артиллерии, участвовал в войне с Испанией, был ранен. В 1723 году по возвращении в Россию Ганнибала произвели в инженер-поручики бомбардирской роты Преображенского полка. Но в 1725 году Петр умер, и для растущего военного специалиста началось предсказанное Петром «завтра».

Известно, что «В 1726 году Ганнибал написал книгу об инженерном искусстве. В 1727—1737 годах строил в Восточной Сибири

крепость Селенгинск. При Елизавете Петровне Ганнибал сыграл большую роль в улучшении постановки в России военно-инженерного и артиллерийского дела. При Петре III был уволен в отставку.

Известно, что неудачно сложилась у Ганнибала и семейная жизнь. В 1731 году он бракосочетался с дочерью грека — капитана галерного флота Диопера. В 1732 году он разошелся с ней, а в 1736 году вступил в брак с немкой Христиной Региной Шеберг, родившей деда Пушкина — Осипа Абрамовича Ганнибала. «В семейственной жизни, — писал А. С. Пушкин, — прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица—гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре».

Но, вероятно, мало кто знает, почему бывший фаворит царя очутился в Сибири. Ответ на этот вопрос даст одна из книг издания прошлого века, хранящаяся в Тобольске. В ней говорится: «После смерти своего покровителя Ганнибал присоединился к партии возмущившихся против всеильного Меншикова и был удален в Сибирь». В книге нет данных, когда впавший в опалу и, вероятно, разжалованный Ганнибал прибыл в далекий для него край, где он жил и когда выехал обратно. Сообщается только, что «...в 1730 году его перевели майором в Тобольский гарнизон, потом капитаном в инженерный корпус».

Крупнейший русский книгоиздатель-просветитель Иван Дмитриевич Сытин в своих мемуарах «Жизнь для книги» писал: «В старой России книга была редкостью и книжный рынок пользовался исключительно привозной бумагой». Однако документы архива сохранили данные об интересном факте попытки еще за сто лет до Сытина наладить отечественное производство бумаги и книгопечатание. Эта попытка была сделана в Сибири.

В 1788 году в Тобольске начала работать бумажная фабрика. Ее владелец купец Василий Корнильев позднее приобрел печатный станок и 5 апреля 1789 года открыл первую в Сибири частную типографию.

Василий Корнильев, писал исследователь Соколов-Сокольский, понимал пользу просвещения и желал ему всячески содействовать. Сохранилось свидетельство о пожертвовании им в то время пяти тысяч рублей на устройство в Тобольске училищного дома. При этом Корнильев вовсе не принадлежал к крупным сибирским богачам. В семье Корнильевых родилась дочь Мария Дмитриевна, которая в 1809 году вышла замуж за директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и подарила миру гениального русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

Первой книгой, напечатанной в типографии Корнильева в год ее

открытия, была популярная в то время английская повесть, переведенная с французского, «Училище любви».

Позднее в ней печатался первый в Сибири журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», издававшийся при Тобольском главном народном училище. Он был в то время единственным провинциальным периодическим изданием во всей России.

В 1795 году, после смерти Василия Корнильева, типография перешла в руки его сына Дмитрия, а затем по Указу Екатерины II была закрыта. Однако труд сибирского Сытина, так по праву можно назвать Корнильева, не пропал даром. Открытые им бумажная фабрика и типография сыграли для своего времени большую роль. По свидетельству исследователей, типография Корнильева за годы своего существования дала столько книг, сколько не выпускала ни одна вольная типография Сибири.

Когда родился Перов?

Выдающийся русский живописец Василий Григорьевич Перов, говорится в Большой Советской энциклопедии, родился 21 или 23 декабря 1833 года. А биографы, не уточняя даты, считают временем рождения художника 1832—1834 годы. Эта приблизительность объясняется очень сложными семейными отношениями родителей Перова.

Однако, когда же родился Перов? Ответ на этот вопрос, в какой-то мере, дают недавно обнаруженные в Тобольском государственном архиве новые документы.

При выявлении их исследователи исходили из известных данных. Василий Григорьевич был внебрачным сыном тобольского прокурора Григория Кридинера и, как утверждают некоторые биографы, его крепостной девушки Акулины. По бумагам, он носил фамилию крестного отца Васильева, а прозвище Перов, ставшее позднее для него фамилией, он получил от дядька, учившего его грамоте, за отличный почерк.

Изучение метрических книг за 1832 год всех 26 церковных приходов, бывших тогда в Тобольске, показало, что ни у одного ребенка, родившегося в декабре, восприимным отцом Васильев не был. Зато в метрической книге 1833 года есть запись священника Богородицырождественской церкви Филиппа Баженова: «Декабря месяца 21 дня у отставного солдата Тюлькина дочери Акулины родился сын Василий. Число крещения 28. Восприимники: коллежский асессор Василий Афанасьевич Васильев и отставного солдата Тюлькина дочь Анисия».

— Можно предполагать, — говорит научный работник архива, кандидат исторических наук Дмитрий Копылов, — что это и есть давно разыскиваемая метрическая запись о рождении Перова.

Такое предположение подтвер-

ждается и другими документами архива. Из одного из них видно, что отец Василия Григорьевича, прокурор Григорий Кридинер, жил именно в этом Богородицырождественском приходе, и что 20 мая 1832 года в этой же церкви и этим же священником была крещена девица Ольга, подкинутая Кридинеру 14 мая.

Большой интерес представляет и Ревизская сказка за 1834 год. В ней есть запись, что прокурор Кридинер дома не имеет, а из крепостных людей владеет только одним дворовым человеком Егором Поповым.

Все эти документы свидетельствуют, что семья Перова, в противовес мнению отдельных биографов, в 1834 году еще жила в Тобольске, что у Василия Григорьевича была приемная сестра Ольга, а его мать не являлась крепостной Кридинера.

Ишимский Пришибеев

По приглашению русского правительства в 1829 году в Россию приехал всемирно известный немецкий путешественник и географ Александр Гумбольдт. Он побывал в Петербурге, Москве, проехал через Казань на Средний Урал, в Западную Сибирь, посетил Алтай, Южный Урал, Астрахань.

В Сибирском городе Ишиме ученый вел астрономические наблюдения. Эти наблюдения вызвали

большую тревогу у местного начальства, результатом которой и явился публикуемый ниже документ, обнаруженный краеведом Засекиным. Он был адресован в Тобольск Сибирскому генерал-губернатору. Его автор — городничий Ишима Сточин.

«Несколько дней тому назад прибыл сюда немец по имени Гумбольдт, худой, невысокого роста, на вид ничего не значущий, но важный... С самого начала он мне не понравился. Слишком много болтает и пренебрег моим гостеприимством, несмотря на то, что мой повар печет такие великолепные пироги, что я даже имел счастье пирогами угощать Ваше Превосходительство,— он, по-видимому, пренебрег мною и мноим угощением.

При всем том явно не почтив своим вниманием высшие официальные лица в городе, вступил в разговоры с поляками и другими политическими преступниками, находящимися у меня под надзором.

Осмеливаюсь донести, Ваше Превосходительство, что подобные разговоры с политическими преступниками не ускользают от моего внимания, особенно с той поры, как после продолжительных с ними переговоров ночью ушел он с ними же на вершину одного холма, господствующего над городом. Туда притащили они какой-то ящик и вынули из ящика инструмент, имеющий вид длинной трубки, которая мне и всему обществу кажется пушкой.

Утвердивши эту трубу на трех-

ножниках, он направил оную прямо на город и каждый из них стал подходить и смотреть верно ли она прицелилась.

Видя во всем этом великую опасность для города (так как город весь деревянный), я немедленно приказал гарнизону, состоящему из одного подпрапорщика и шести нижних чинов, идти к тому же месту с заряженными ружьями, глаз не спускать с немца и следить за его штуками.

Если изменнические проделки этого человека оправдают мои подозрения, то мы положим животы наши за царя и за святую Русь.

Посылая к Вашему Превосходительству донесение это с экстренным курьером, и спрашиваю дальнейших ваших распоряжений и пользуюсь случаем уверить Вас в моей готовности повиноваться и в моей преданности царю и отечеству, как честный русский офицер, который уже двадцать лет как состоит на службе».

Комментарии, как говорят, излишни.

Тайна одного автографа

«Я уверен, — писал в свое время известный норвежский ученый Фрнтюф Нансен, — что если мы обратим внимание на силы, свойственные самой природе, и попробуем работать заодно с ними, а не против них, то найдем вернейший и легчайший способ достижения полюса». К этому заключению Нансен пришел, исследовав

течения в Северном Ледовитом океане и узнав, что они направляются от берегов Сибири к полюсу. Так 70 лет назад начался беспрецедентный для того времени дрейф Нансена на судне «Фрам», вмерзшего во льды, к Северному полюсу.

Итоги своего путешествия Нансен описал в книге «В стране льда и ночи» и в 1897 году один из экземпляров этой книги со своим автографом подарил жителю Тобольска Александру Ивановичу Тронтгейму.

Научным работникам музея в Тобольске, где хранится сейчас эта книга, удалось раскрыть интересную тайну этого автографа. Установлено, что Тронтгейм в 1893 году по просьбе Нансена закупил в Березове 30 ездовых собак и, совершив с ними путь в несколько тысяч километров, доставил их на борт судна «Фрам», стоящего у берегов Югорского шара. На свое путешествие Тронтгейм затратил около пяти месяцев.

Как писали газеты того времени, Нансен был очень доволен сибирскими собаками. Он сказал Тронтгейму: «Вы оказали экспедиции большую услугу. Я имею поручение передать вам золотую медаль, пожалованную вам нашим королем за ту немалую помощь, которую вы оказали».

По утверждению газет, на лицевой стороне медали, которую Нансен вручил Тронтгейму, было написано: «Оскар II король Шведский и Норвежский. Благополучие

братских народов». А на обратной — «Награда за верную службу А. И. Тронтгейму».

В августе 1893 года, получив собак, «Фрам» вышел в открытое море, а через четыре года, возвратившись из путешествия, Нансен подарил Тронтгейму свою кни-

гу с автографом.

Известно, что Тронтгейм скончался в начале сороковых годов. Он принимал участие в снаряжении сибирскими собаками экспедиций Селова и других полярных исследователей.

В. Г. КОРОЛЕНКО В ТОВОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

Имя Владимира Галактионовича Короленко (1853—1921) всегда вызывает чувство горячей симпатии и глубокого уважения. Всю жизнь, не щадя себя, писатель боролся против насилия за торжество справедливости. Царское правительство много раз арестовывало Короленко, заключало в тюрьмы, высылало в отдаленные и глухие уголки Российской империи.

В 1879 г., за участие в революционном движении студенчества, Короленко был выслан в Вятскую губернию, а потом, после краткого пребывания в Вышневолоцкой тюрьме, переправлен в Сибирь. Его письма к родным говорят о бодром настроении и спокойствии писателя, об отсутствии уныния и страха перед неизвестностью.

22/II—1880 г. Короленко общал брату Иллариону из Вышневолоцкой политической тюрьмы: «... Весной (в мае должно быть) — в Сибирь! Здоров и настроение ничего. Что ж! Сибирь так Сибирь, — не пустыня ведь...»¹. В другом письме он добавлял: «Вообще — не

страшно. Починки были для меня хорошим уроком и скажу тебе искренно: я хорошо воспользовался этим уроком... Сибирь — еще одна ступень и, кажется, я шагну на нее совсем уже твердо».² Перед отправкой в ссылку Короленко просил своих родных писать ему на Тюменский приказ о ссыльных.

С партией заключенных Короленко везли сначала из Вышневолоцка по железной дороге, потом из Нижнего Новгорода до Перми на барже, затем снова по железной дороге в Екатеринбург, и далее на подводах до Тюмени. «...Поезд растянулся длинной вереницей по широкому сибирскому тракту... Так подъехали мы к тому месту, где на грани стоит каменный столб с гербом, в одну сторону Пермской губернии, в другую — Тобольской. Это и есть начало Сибири... Здесь наш длинный кортеж остановился... Кое-кто захватывал «горсточку родной

¹ Владимир Короленко. Письма. 1879—1887 гг. Т. 1. Госиздат Укранны, 1923, стр. 62.

² Там же, стр. 68. Упомянутое в письме Починки — это Березовские Починки Вятской губернии, где В. Г. Короленко находился в ссылке с ноября м-ца 1879 г. по январь 1880 г.

земли», вообще все казались несколько растроганными».¹

В Тюмень, где ссыльные распределялись по тюрьмам Западной Сибири, писатель прибыл 30 июля 1880 г. В тот же день его посадили на баржу и отправили по Туре, Тоболу, Иртышу и Оби в Томск. Когда баржа двигалась по Иртышу, среди политических ссыльных возникли волнения на почве столкновений с жандармами. К тому же партия проявляла недовольство пассивным поведением своего старосты. На его место единодушно был выбран В. Г. Короленко, и товарищи по ссылке неизменно отмечают большую выдержанность в его характере, которая помогала Короленко устранять столкновения заключенных с тюремным начальством.

После короткого пребывания Короленко в Томске пришел приказ о возвращении его в пределы Европейской России. «Лорис-меликовское» веяние помчало нас с востока на запад»², — иронизирует Короленко по поводу кратковременной политики уступок и заигрывания царского правительства с общественными кругами в тот период, когда министром внутренних дел был Лорис-Меликов.

Писатель был доставлен в Тобольск и помещен в общей камере Тобольской тюрьмы. в «подследственном отделении», где он провел несколько дней на пути в Европейскую Россию.

В «Истории моего современника» Короленко рассказывает о политических заключенных.

с которыми ему пришлось встретиться в Тобольской тюрьме. В своем большинстве это были активные участники революционного народнического движения.

Революционер-народник С. П. Швецов, впоследствии известный сибирский экономист, писатель и этнограф, в своих воспоминаниях о Короленко рассказывает, каким был Владимир Галактионович в этот период. «Всегда оживленный и деятельный, стройный, но плотный и коренастый молодой человек, с огромной шапкой буйно вьющихся темно-каштановых волос, как-то особенно красиво прикрывавших его большую голову и волнами спускавшихся почти до самых плеч, с широкой густой бородой, с темными блестящими, временами принимающими особенно углубленное, сосредоточенное выражение глазами, в белой холщевой арестантской рубахе или в серой суконной блузе, опоясанной тонким ремешком, в высоких сапогах, — таким я помню В. Г. того времени. Таким он был и в Вышневолоцкой политической тюрьме, таким я видел его в Тюменской пересыльной и в подследственном отделении Тобольской военной каторжной тюрьмах...»³.

Тот же Швецов подчеркивает постоянную готовность Короленко прийти на помощь другому человеку. В Тобольской тюрьме «... он был поглощен заботой о двух заключенных: почти наглухо замурованном «под № 1» политическом каторжанине Фомине и преследуемом злобой тюремщиков, не-

¹ В. Г. Короленко. История моего современника. Собрание сочинений. т. VIII. Издательство «Правда», М., 1953, стр. 133, 134.

² Там же, стр. 141.

³ С. П. Швецов, В. Г. Короленко в Вышнем Волочке. В кн. «В. Г. Короленко в воспоминаниях современников». ГИХЛ, 1962, стр. 42.

податливым на все их ухищрения сектанте «Яшке стукальщике»... И здесь им руководило все то же начало: «быть первым там», «где трудно дышится, где горе слышится»¹.

5 сентября Короленко и другой политический ссыльный У. Вноровский подали прошение тобольскому губернатору об ускорении отправки их и других ссыльных в Европейскую Россию, тем более, что среди них были женщины с грудными детьми: «Теперь мы вот уже вторую неделю содержимся в тобольском остроге, причем... находимся в полной неизвестности относительно того, когда же, наконец, последует наша отправка. Между тем средства у нас очень ограниченные (а у некоторых и вовсе отсутствуют), тюремные условия на детей отражаются очень плохо...»². Наконец, за ссыльными явились жандармы, и Короленко был отправлен в Пермь.

Порядки Тобольской тюрьмы Короленко описал в рассказе «Яшка» (первоначальное название — «Временные обитатели подследственного отделения», 1880 г.). Ранний краткий набросок к этому рассказу был сделан в самой тюрьме.

Рассказ «Яшка» не случайно имеет эпиграф из Островского: «Жестокое, сударь, нравы...» Действительно в Тобольской тюрьме жестокость по отношению к заключенным процветала во всех ее видах. Писатель рисует грязную, мрачную тюрьму,

в которой не случайно было много умалишенных: тюремные порядки действовали угнетающе и на психически здорового человека. Темные, сырые «одички», где стены и потолок покрыты густым слоем пыли, вделанное в стену железное кольцо, к которому в случае надобности приделывалась короткая цепь, брошенный на пол грязный тюфяк — вот типичный вид тюремных камер. Для некоторых существовал холодный карцер, о котором тюремный надзиратель говорил: «Вон зимой карцер был, то уж можно сказать. Сутки если в нем который посидит, бывало, так уж прямо в больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается»³.

Кроме карцера, была еще больница для сумасшедших, куда смотритель переводил «беспокойных». Оттуда была только одна и быстрая дорога — на кладбище. Безжалостно и бессердечно тюремное начальство: и высшие чины и смотритель — «старая тюремная крыса». «с маленькими, злыми, точно колющими глазами», могущий заключенного «сжить со свету».

В центре рассказа Короленко стоит образ Якова — «стукальщика». Этот сектант, заключенный в Тобольскую тюрьму, выступает против «неправедных порядков» и «неправедного начальства». Яков — своеобразный обличитель социальной несправедливости. Религиозная обрядность — лишь внешняя оболочка, за которой скрывается весьма реальный протест против действительности. Яшка протестует, прибегая к тем формам, которые ему доступны: он стучит ногой в

¹ С. П. Швецов. В. Г. Короленко в Вышнем Волочке. В кн. «В. Г. Короленко в воспоминаниях современников». ГИХЛ, 1962, стр. 51.

² Государственный архив Тюменской области в г. Тобольске. Ф. 152, 1880, д. 32, л. 13.

³ В. Г. Короленко. Очерки и рассказы о Сибири. Госполитиздат, М., 1936, стр. 78.

железную дверь камеры, сотрясая воздух тюрьмы гулками ударами, как только почувствует приближение «начальства» и всех его мелких слуг.

Протест Якова — стихийный, неосознанный. Он стоит за «великого государя», обладая наивной мужицкой верой в «доброе» царя. Но он безоговорочно отрицает «гражданское», земское начало, объективно отражая протест народа против тех тягот, которые дополнительно легли на народные плечи после отмены крепостного права. По словам Якова, «под гражданскими властями» «жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, а ныне земские подати окромя накладывают...»¹. Причиной заключения Якова в тюрьму и был его отказ платить земские подати. Как сообщает Короленко в «Истории моего современника», Яков был жителем одного из уральских заводов и принадлежал к секте «неплательщиков». В конце концов, начальство, выведенное из терпения неутомимым «стукальщиком», отправляет его в дом сумасшедших, где он, по словам тюремного надзирателя, «недолго наступит».

Рассказ «Яшка» после его напечатания стал известен тобольской администрации, которая отомстила писателю. В августе 1881 г. Короленко был вторично отправлен в Сибирь за отказ дать присягу на верность Александру III. Он снова попал в Тобольскую тюрьму, где ему припомнили смелое разоблачение тюремных порядков. Писателя поместили в мрачную и глухую секретную камеру-одиночку военно-каторжной

тюрьмы, куда садили особо важных заключенных и где даже окно было забрано досками. Не понимая причины своего заключения в этой камере, Короленко пережил в ней тяжелые дни с 15 по 23 августа 1881 года.

В этой тобольской одиночке несколько лет просидел «особо опасный» революционер-народник Фомин, и Короленко «стали приходиться в голову довольно мрачные мысли... Не надо было особой мнительности, чтобы будущее казалось мне неопределенным и мрачным в этой камере, где еще как будто бродила тень моего, вероятно, погибшего здесь предшественника»².

Но и в условиях самого сурового режима военно-каторжной одиночки Короленко не распускается, не расслабляет своей воли. «Я здоров.. Так как я не мог поступить иначе, то не о чем жалеть. Куда бы ни занесла судьбина, — буду работать, и это даст мне силу выждать лучших времен и свободы. Не страшно, только досадно... У меня еще силы довольно, а с работой не боюсь ничего», — писал он из заключения своему брату³.

В прошении тобольскому губернатору (от 20 августа 1881 года) Короленко напоминал, что его обещали отправить на ближайшем пароходе 19-го августа. Но «пароход пришел и ушел... и я не вижу ни малейших признаков близкой отправки. Мне

² В. Г. Короленко. История моего современника. Собр. соч., т. 8, изд-во «Правда», М., 1953, стр. 188.

³ В. Г. Короленко. Письма из тюрем и ссылок. 1879 — 1885. Горьковское изд-во, 1935, стр. 94—95.

¹ В. Г. Короленко. Очерки и рассказы о Сибири. Гослитиздат, М., 1936, стр. 78.

предстоит неблизкий путь, теперь осень...»¹ тревожился он, т. к. из-за надвигающегося бездорожья мог просидеть целые месяцы в тюрьме.

В «Истории моего современника» Короленко выразительно передает атмосферу глухой реакции 80-х годов XIX века, наступившей после убийства революционерами Александра III, когда началось «веяние на восток», т. е. бесконечные ссылки в Сибирь. Если год назад у писателя были иллюзии относительно возможности конституции, обещанной Александром III в начале его царствования, то теперь они исчезли.

Пребывание в одиночке было настолько томительным и тяжелым, что Короленко 22 августа во время прогулки сделал попытку к бегству, решив перелезть через тюремный забор, но ему помешала это осуществить залаявшая собачонка смотрителя. Об этом эпизоде своей жизни Короленко рассказал в «Искушении». (Рассказ был написан в 1881 году, но смог появиться в печати только после революции 1905 года).

Попытка Короленко к бегству осталась незамеченной, а на следующий день, 23 августа, он был отправлен из тюрьмы в ссылку.

Когда он спросил тобольского полицмейстера, почему его, административно-пересылаемого, держали в секретной одиночке, то услышал в ответ: «Оттуда меньше видно. Мы не любим, когда об нас пишут»².

Из Тобольска Короленко повезли дальше в Сибирь. «Предполагалось официально, что меня повезут на почтовых. Мы так и начали свой путь. Но жандармы сочли более для себя удобным свернуть через некоторое время к одной из обских пристаней. Помню в тот вечер какой-то перевоз и особенное чувство, с которым я теперь смотрел на речные дали, на леса под лунным светом, на туманы, залегавшие в низинах... Выхав по проселкам на какую-то пристань, мы сели на пароход «Нарым» и до Томска доехали водой»³.

В «Путевых набросках по Иртышу и Оби», написанных на пароходе «Нарым», Короленко изложил свои дорожные впечатления. Писатель рассказал о пустынных берегах Оби, о прогулке в Лямином бору под Сургутом во время погрузки дров на пароход. Везде и всюду проявляется наблюдательность писателя, зорко подмечающего все, что он видит и слышит. Писатель метко и живо рисует облик живущих на Оби остяков (ханты, селькупов) и сценки из их жизни. Они ютятся в шалашах из жердей и бересты даже в холодное время. «Холодно; утром шел уже снег. Между тем здесь в шалаше живет семейство: остяк с женой и грудным ребенком. Шалаш, совершенно открытый с одной стороны, разделен на две половины. В другой половине помещается одинокий старик»⁴.

Короленко восхищается ловкостью остяков, плавающих по

¹ Государственный архив Тюменской области в гор. Тобольске. Ф. 402, оп. 1, ед. хр. 422.

² В. Г. Короленко. История моего современника. Собр. соч., т. VIII. Издательство «Правда», М., 1953, стр. 189.

³ Там же, стр. 190.

⁴ В. Г. Короленко. Записные книжки. (1880—1900). ГИХЛ, М., 1935, стр. 68.

Оби в маленьких неустойчивых лодках даже в ветренную погоду. Видел он и то, что остатки вынуждены за бесценок продавать свое единственное богатство — рыбу. Писатель заметил также проникновение «цивилизации» в виде водки в жизнь этого «тихого, смиренного... добродушного народа».

Внимание Короленко привлекла фигура сибирского бурлака, который тащил против течения лодку с рыбой и сидевшим в ней хозяином — торговцем. Одетый в лохмотья, почти босой (а уже стояли холодные осенние дни), он вызвал у писателя чувство глубокого сострадания. «Мне самому стало холодно при взгляде на эту несчастную фигуру», — пишет автор¹.

Картины сибирского пейзажа у Короленко (как это уже не раз подмечалось исследователями) овеяны настроением холода и грусти. Несомненно, это связано с тем, что писатель попал в Сибирь поневоле, в качестве ссыльного, оторванного от родных мест. Это сказалось на его отношении к сибирской природе. Вот пейзажная зарисовка обского берега, данная Короленко в его «Записной

книжке»: «День был светлый, но по небу ходили большие холодные тучи, порванные ветром. По широкой реке то и дело пробегали холодные тени; над волнами вставали белые хохолки пены. Берег, к которому теперь боком приставал пароход, был своеобразно дик и пустынен... Весь пейзаж с темной рекой, схваченной белыми песками, с бледной зеленью и бледным небом — носил какой-то особенный сибирский отпечаток. Тихо, грустно и бледно...»². Ощущение грусти пронизывает эту картину северного сибирского пейзажа. Но вместе с тем уже при первом знакомстве с Сибирью писатель подметил размах, простор и ширь сибирской природы: «Степь, так уж степь, река, так река — море... Лес—тайга непроходная...»³ — таково общее впечатление писателя от сибирских пейзажей, выраженное в «Путевых набросках по Иртышу и Оби».

По Оби и Иртышу Короленко был доставлен в Томск, а затем его препроводили дальше — в Восточную Сибирь.

² В. Г. Короленко. Записные книжки. Гослитиздат, М., 1935, стр. 63—64.

³ Там же, стр. 58—59.

¹ В. Г. Короленко. Записные книжки. (1880—1900), ГИХЛ, М., 1935, стр. 64.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
кандидат исторических наук

РАБОЧИЙ КЛАСС СИБИРИ В ТРУДЕ КАК В БОЮ

(к вопросу о патриотическом движении фронтовых комсомольско-молодежных бригад в годы Великой Отечественной войны)¹

Каждый день приносит нам все новые трудовые победы советских людей в борьбе за коммунизм. Важным фактором, ускоряющим наше продвижение вперед, к заветной цели, является великое современное движение за коммунистический труд. Ныне в нем участвует более 30 миллионов человек. Это уже не отдельные разведчики будущего, а могучий авангард строительства коммунистического общества.

Движение бригад, ударников и коллективов коммунистического труда возникло не на пустом месте. Оно вобрало в

себя все лучшее, ценное, передовое из разнообразных форм социалистического соревнования предыдущего периода. Ближайшим предшественником современного движения за коммунистический труд явилось патриотическое движение комсомольско-молодежных бригад, развернувшееся в суровые годы Великой Отечественной войны. Молодое пополнение рабочего класса тех лет, подхватило трудовую эстафету старших братьев и отцов, ушедших на фронт, и горя единым желанием ускорить разгром фашизма, объединялось в бригады, которые боролись за получение почетных званий фронтовых или гвардейских.

В Сибири молодежные бригады в промышленности и на транспорте появились в самом начале войны. Работа в них шла под лозунгами «В труде как в бою!», «Не уходить из цеха до тех пор, пока не выполним и не перевыполним нормы!». Эта форма соревнования

¹ Статья написана на основе материалов: ЦПА ИМЛ, ЦГАОР, ЦА ВЦСПС, ЦГА РСФСР, Архива ЦК ВЛКСМ, Новосибирского, Омского, Тюменского, Курганского, Кемеровского, Томского, Иркутского, Читинского, Бурятского областных, Алтайского и Красноярского краевых партийных архивов, государственных архивов Омской, Кемеровской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого национального округа и ряда печатных источников. Ю. В.

приобретает в военное время особо важное значение, так как на производство пришла молодежь. В Омской области в период войны в промышленность пришло 65 тыс. молодых рабочих. На шахтах Кузбасса молодежь составляла более 50 процентов основного состава горняков. На заводах и фабриках Красноярского края, Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР молодежь составляла 50—80 процентов к общему числу рабочих.

Прилив такого огромного количества молодежи в промышленность и на транспорт потребовал от партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Сибири энергичных мер по обучению юношей и девушек производственным специальностям. Эта задача решалась путем индивидуального обучения, подготовки в новаторских школах, на краткосрочных курсах, в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО. За время войны в Сибири только через систему трудовых резервов было подготовлено 293.400 человек молодых рабочих. Проведенные меры обеспечили создание условий для успешного самоотверженного труда молодого отряда сибирского рабочего класса во имя фронта.

В городе Новосибирске в конце июня 1941 года имелось две комсомольско-молодежные бригады на заводе «Труд», объединявшие 11 человек. Они первыми в городской промышленности повели коллективную борьбу за перевыполнение оборонных заданий. В августе 1941 года на шахте «Коксовая 1-я» была создана первая в Кузбассе комсомольско-молодежная бригада щитовиков, руководимая т. Токаревым. За годы войны члены этой бригады выдали

на-гора свыше 100 тыс. тонн угля. В первые военные месяцы молодежные бригады возникают в Омске, Тюмени, Красноярске, Улан-Удэ и других сибирских городах. Это были первые ласточки могучего патриотического движения рабочей молодежи, принявшего более широкие масштабы в последующий период войны.

Первая в стране фронтовая комсомольско-молодежная бригада возникла на «Уралмашзаводе» в Свердловске в октябре 1941 года. Инициатором ее создания был молодой мастер Михаил Попов. Вслед за этим появляются фронтовые бригады на автозаводе города Горького и в Сибири.

Звание фронтовой или гвардейской присваивалось бригадам за особенно хорошую работу и систематическое перевыполнение норм. Под руководством партийных организаций комитеты комсомола вырабатывали условия соревнования молодежных бригад. Например, в условиях, выработанных комсомольцами одного из оборонных заводов Новосибирска, говорилось: «Победителем в соревновании считается та комсомольско-молодежная бригада, которая добьется следующих показателей:

1. Бригада, выполнившая месячный план (при отсутствии членов бригады, не выполняющих нормы).

а) автоматчиков и револьверщиков не ниже чем на 125 процентов;

б) токарей и фрезеровщиков не ниже чем на 175 процентов;

в) слесарей-сборщиков, монтажников и других профессий не ниже чем на 225 процентов.

2. Не будет иметь брака в работе.

3. Экономит не менее чем на 8 процентов металла, элект-

роэнергии, смазочных материалов, топлива и т. д.

4. Организует техническую учебу всех членов бригады и добьется, чтобы каждый овладел 2—3-мя смежными специальностями.

5. Не будет иметь нарушений трудовой и технологической дисциплины.

6. Будет активно участвовать в работе комсомольской группы и выполнять все комсомольские поручения.

7. Каждый член бригады должен изучить историю Отечественной войны».

На промышленных предприятиях Томска было принято три ступени развития бригад: молодежная бригада, фронтовая молодежная бригада, гвардейская молодежная бригада. При этом для каждого цеха и определенной группы специальностей устанавливали ту норму производительности труда, которая позволяла присваивать бригаде то или иное звание. Так, например, на намотке секций при выполнении плана на 150 процентов присваивалось звание «фронтовой» бригады, а при 200 процентах — «гвардейской». Для коллекторной группы эти требования были иные: при 200 процентах — «фронтовая», при 300 процентах — «гвардейская». Отдельным бригадам за фронтовой труд присваивались имена Героев Советского Союза — фронтовиков.

В некоторых местах Сибири в первый период возникновения молодежных бригад в эту творческую форму пытались внести методы военизации. В Новосибирске на «Сибметаллострое» вместо бригад были сформированы отряды молодых рабочих, которые подчинялись сугубо военной дисциплине. Весь распорядок дня — труд и

отдых были военизированы. Эти недостатки являлись болезнью роста нового движения и в значительной мере тормозили его.

26 июня 1942 года ВЦСПС подверг резкой критике такую практику в отдельных промышленных коллективах, осудил ее и подчеркнул, что «главной задачей фронтовых бригад должно быть повседневное и нарастающее перевыполнение планов и улучшение качества продукции...»

Новый мощный размах движения комсомольско-молодежных бригад начинается в мае 1942 года, когда по призыву рабочего класса Сибири по всей стране развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование в промышленности и на транспорте. 1943 и 1944 годы принесли новые качественные изменения в движении молодежных бригад.

В ноябре 1943 года фронтовая комсомольско-молодежная бригада Екатерины Барышниковой 1-го Московского шарикоподшипникового завода сократила количество рабочих в бригаде с 6 до 3, претворив лозунг военного времени «С меньшим числом рабочих давать больше продукции».

В 1944 году Александр Федотов, бригадир сборщиков цеха одного из заводов Наркомата вооружения, внес предложение объединить в его бригаде весь процесс сборки агрегата и ликвидировать тем самым дополнительное звено-участок, высвободив двух мастеров и семерых слесарей. В этом же году Егор Агарков с Урала предложил объединить бригады сварщиков и монтажников и слить оба участка под руководством одного бригадира. Эти предложения советских новаторов имели большое военно-



Сибирь, 1944 год.

Участок токарей-новаторов из комсомольско-молодежной бригады Н-ского завода. Впереди бригадир Г. Зевакин.

хозяйственное значение, способствовали повышению производительности труда в промышленности и были горячо подхвачены комсомольско-молодежными бригадами страны и в Сибири.

Особенно большое внимание выращиванию новаторов военного времени и развитию соревнования комсомольско-молодежных бригад уделяла партийная организация крупнейшего в Западной Сибири Кузнецкого металлургического комбината. Как правило, в начале месяца партком комбината проводил совещание секретарей партийных организаций, начальников цехов и представителей цеховых профсоюзных комитетов. На этих совещаниях подводились итоги работы за про-

шедший месяц и намечались задачи на следующий месяц. До совещания социалистические обязательства предварительно подрабатывались в среде командного состава и лучших новаторов КМК, а затем утверждались на сменных собраниях рабочих, в цехах и молодежных бригадах. Партийный комитет осуществлял систематический контроль за ходом соревнования, ежемесячно подводил его итоги.

Первыми комсомольско-молодежными бригадами на КМК были бригады Евгения Каменского, Константина Потемкина и Константина Ельцова из механического цеха № 3. Бригада Е. Каменского за 3,5 года войны обучила 570 новых токарей-операционников и первал

на комбинате завоевала звание фронтовой. Показателен рост производительности труда этой бригады. В 1942 году члены бригады выпускали 270 деталей в смену, в 1943 году — 500, в 1944 году — 800 и в 1945 году — 1.100 деталей в смену.

В первом полугодии 1945 года инициатором социалистического соревнования выступила фронтовая молодежная бригада мартеновского цеха № 1, которая взяла повышенные обязательства, подписывая новодонный рапорт трудящихся Кузбасса Советскому правительству. Она вызвала на соревнование фронтовую молодежную бригаду из мартеновского цеха № 2.

Партком и цеховые парторганизации КМК повседневно следили за ходом соревнования бригад. Редакция многотиражной газеты «Большевикская сталь» много внимания уделяла освещению хода соревнования. Завком профсоюза металлургов организовал специальную витрину, где были изложены условия соревнования и изображены диаграммы с показателями хода выполнения обязательств соревнующихся бригад. Победителем в соревновании вышла бригада мартеновского цеха № 2, выдавшая сверх плана 6.320 тонн стали и выплавившая 36 скоростных плавков. Бригада мартеновского цеха № 1 за этот период выдала 353 тонны сверхплавовой стали и провела 22 скоростных плавки.

Благодаря деятельности фронтовых комсомольско-молодежных бригад и развитию других форм соревнования Кузнецкий металлургический комбинат не раз выходил победителем в социалистическом соревновании. В январе 1945 года комбинату было вручено

переходящее Красное знамя Кемеровского обкома ВКП(б) и облисполкома за успешное выполнение производственного плана в 1944 году. Во Всесоюзном соревновании, инициатором которого КМК выступил в мае 1942 года, комбинат 127 раз завоевывал переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, 45 раз вторые и 14 раз третьи места. Весь 1945 год комбинат держал первое место в областном социалистическом соревновании.

Серьезные перемены произошли в военное время в промышленности Алтая. По существу в период Отечественной войны он превратился в могучий индустриальный край. Патристическое движение комсомольско-молодежных бригад началось здесь в первые военные месяцы. Партийные органы края помогли комсомольцам в развитии движения, считая, что «основной общепризнанной формой организации труда молодых рабочих являются комсомольско-молодежные бригады».

Накануне 25 годовщины ВЛКСМ в начале октября 1943 года в Барнауле состоялся первый краевой съезд молодых рабочих, который подвел итоги, обобщил опыт работы лучших фронтовых бригад и призвал рабочую молодежь Алтая еще более самоотверженно трудиться во имя победы над врагом. В ответ на обращение делегатов съезда в Барнауле широко развернулось соревнование молодежных бригад. Фронтовые бригады Сергея Воробьева, Александра Шатухина, Нины Князевой и других выполняли месячную программу за 20 дней. Их назвали «бригадами-двадцатниками».

Большой опыт в соревновании фронтовых бригад был на-

коплен на Алтайском тракторном заводе, созданном в военное время. Здесь партийная организация оказывала молодежи большую помощь в развитии этого движения. Если в июне 1943 года на АТЗ имелось 27 молодежных бригад, в том числе 12 фронтовых, то к апрелю 1944 года на заводе уже было 285 молодежных бригад, 119 из них за самоотверженный труд получили звание фронтовой. В 1944 году в целом по Алтайскому краю во Всесоюзном соревновании участвовало 1.275 молодежных бригад, две из них заняли первые места в Советском Союзе, четыре бригады — вторые и шесть бригад — третьи. В 1945 году 370 бригад работали по методу А. Федотова и Е. Агаркова, в результате чего более 400 квалифицированных рабочих перешли на отстающие участки.

Тысячи алтайцев были награждены орденами и медалями. Только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» было награждено 213209 трудящихся Алтая, и среди них немало членов фронтовых и гвардейских молодежных бригад.

В Омской области к апрелю 1944 года, благодаря большой работе партийных и комсомольских организаций, на предприятиях промышленности имелось 1925 комсомольско-молодежных бригад, объединявших 12 тысяч человек. За счет повышения производительности труда и внедрения методов работы Е. Барышниковой и Е. Агаркова они высвободили на другие участки около 1000 молодых производственников.

Наивысший подъем движения комсомольско-молодежных бригад в Тюменской области наблюдается в последние два го-

да Отечественной войны. Оно приобретает массовый характер. Так, на Тюменском гальваномеханическом заводе в комсомольско-молодежные бригады объединилось свыше 50 проц. общего числа молодых рабочих предприятия. В июле 1944 года на фанерокомбинате и заводе «Механик» в Тюмени имелось 134 молодежных бригады, из которых 28 получили звание фронтовой. В легкой промышленности Тюменской области героически трудилось 23 комсомольско-молодежных бригады.

Действенной формой развертывания соревнования комсомольско-молодежных бригад и распространения опыта новаторов военного времени являлись общественные смотры организации труда рационализаторов и молодежных бригад.

В июле 1944 года партийная организация завода «Механик» возглавила, начавшийся на предприятиях Тюмени общественный смотр организации труда. Были созданы общезаводские и цеховые комиссии, которые в период смотра не ограничивались только анализом состояния дел, а сразу принимали действенные меры по улучшению производства. Так, например, комиссии сделали вывод о том, что при соответствующем организационном укреплении молодежных бригад, они будут работать более производительно. По рекомендации комиссий в состав бригад были введены опытные рабочие, умельцы, рационализаторы. Вместе с тем партийное бюро организовало техническую учебу молодых рабочих и создало на предприятии новаторские школы. В результате в этом смотре коллектив завода «Механик» добился первенства. Было внесено более 100 рационализаторских предложений и производительность

труда на предприятии повысилась на 10 проц.

К январю 1945 года на всех предприятиях города Тюмени работало 913 комсомольско-молодежных бригад, среди них 64 фронтовых и 4 гвардейских. В этих бригадах трудилось свыше 10 тысяч юношей и девушек. Применяя методы Е. Барышниковой, они только за 1943 год вывободили для других работ более 700 человек членом бригад.

Высоко несли знамя социалистического соревнования рыбаки и рыбачки, молодые лесорубы Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области. Только фронтовых и гвардейских бригад здесь было свыше 60. Многие из них были удостоены Почетных грамот ЦК ВЛКСМ. Немало комсомольско-молодежных бригад имелось на предприятиях рыбной промышленности Ямало-Ненецкого национального округа.

В дни, когда отмечалась 27 годовщина Советских Вооруженных Сил, Тюменский обком комсомола рапортовал обкому ВКП(б): на предприятиях области самоотверженно трудится 2150 комсомольско-молодежных бригад, которые дали стране и фронту большое количество продукции сверх плана и готовы трудиться не покладая рук во имя победы над врагом.

Активно участвовали в соревновании молодежных бригад комсомольцы Курганской области. Если к началу 1942 года на предприятиях промышленности здесь имелось только 30 бригад, то на 9 мая 1945 года было уже 608 бригад, объединявших в своих рядах около 4000 молодых рабочих. Работая по методу Е. Барышниковой и Е. Агаркова, они высвобождали для других работ 647 человек. Директор курганского

завода «Уралсельмаш», оценивая деятельность бригад, говорил: «Молодежные бригады явились на заводе той силой, которая в большинстве своем решала задачу успешного выполнения заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции».

Широкое распространение движение фронтовых бригад получило на фабриках и заводах Восточной Сибири. К концу Отечественной войны силами комсомольско-молодежных бригад промышленности Иркутской области в свободное от работы время было изготовлено сверхплановой продукции на 10 млн. рублей, звено боевых самолетов, на 15 полков вооружения, 5 вагонов боеприпасов, 4100 пар обуви, 12 эшелонов угля, отремонтировано 45 паровозов и 193 вагона.

В Красноярском крае на промышленных предприятиях в феврале 1944 года работало 773 бригады, в том числе 456 фронтовых.

В 1944 году среднесуточная добыча угля молодежными бригадами в горной промышленности Читинской области составляла 27 проц. к общей добыче угля, а за первое полугодие 1945 года молодыми угольщиками области добывалось 35 проц. всей добычи угля по трестам. На заключительном этапе войны на Забайкальской железной дороге работало 265 молодежных бригад, объединявших около 4000 молодых железнодорожников.

Патриотическое движение комсомольско-молодежных бригад в советской промышленности шло по стране триумфальным шествием. Десятая сессия Верховного Совета СССР в 1944 году отмечала, что «работа этих бригад пример того, какими неисчерпаемыми возмож-

ностями дальнейшего повышения производительности труда мы обладаем». К окончанию Великой Отечественной войны в промышленности Советского Союза было уже 155 тысяч комсомольско-молодежных бригад,

объединявших свыше 1 млн. молодых производственников.

О количестве молодежных бригад в промышленности и на транспорте Сибири в конце войны свидетельствуют данные таблицы:

Районы Сибири	Годы войны	К-во комсомол. бригад
Западная Сибирь		
Новосибирская область	Январь 1945 г.	3612
Омская область	Январь 1945 г.	2752
Тюменская область	Февраль 1945 г.	2150
Курганская область	Январь 1945 г.	600
Кемеровская область	Январь 1945 г.	2850
Томская область	Июль 1945 г.	678
Алтайский край	Февраль 1945 г.	1740
Восточная Сибирь		
Иркутская область	Январь 1945 г.	1530
Читинская область	Февраль 1944 г.	393
Красноярский край	Январь 1945 г.	1400
Бурятская АССР	Январь 1945 г.	385
Якутская АССР	Январь 1945 г.	100
Вся Сибирь:	1944—1945	18190

По неполным данным более 7000 бригад за самоотверженный труд получили звание фронтовой и гвардейской.

Могучий патриотический подъем трудящихся Сибири, мощное развитие социалистического соревнования, повседневное руководство партийных организаций обеспечили за годы войны бурный рост промышленного производства. Валовая продукция всей промышленности в 1945 году по сравнению с 1940 годом составляла: в Западной Сибири—270 проц., в Восточной Сибири—128 проц. Валовая продукция крупной промышленности за период Великой Отечественной войны выросла в Западной Сибири в 3

раза, а в Восточной Сибири в 1,3 раза. Эти успехи стали возможны также благодаря массовому патриотическому движению комсомольско-молодежных бригад в Сибири.

Труд фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны явился большим вкладом в общенародное дело разгрома врага. Коммунистическая партия Советского Союза, черпающая силы в неразрывной связи с народом, всемерно поддерживала эту творческую инициативу рабочего класса. Могущество великой страны социализма необоримо, новый социальный строй непобедим — таков главный итог событий 1941—1945 годов.

В дни, когда народы нашей Родины, воодушевленные историческими решениями XXII съезда КПСС, новой программой партии и постановлениями последующих Пленумов ЦК, успешно решают задачи коммунистического строительства, знакомство с опытом патриотического движения фронтовых бригад военного времени приобретает особую актуальность. Умножая и развивая героические традиции рабочего класса военных лет, трудящиеся нашей области активно участвуют в борьбе за повышение производительности труда. Летом 1963 года в Тюменской области в движении за коммунистический труд участвовало свыше 100 тысяч рабочих, инженерно-тех-

нических работников и служащих предприятий промышленности, строительства и транспорта. 3266 бригад, участков и смен соревновались за право называться коммунистическими

На 1 июня 1963 года звание коммунистических было присвоено 581 коллективу предприятий, цехов, участков и бригад, 20 тысяч рабочих получили почетное звание ударника коммунистического труда.

В героической, самоотверженной борьбе рабочего класса нашей страны за совершенствование новых форм организации труда и производства, залог успешного создания материально-технической базы коммунизма в СССР.

КОРОТКО О КНИГАХ

В. НИКОЛЬСКИЙ. *Беспокойные люди. Рассказы.* Тюмень. Ки. изд., 1963, 142 стр.

«Беспокойные люди» — последняя, посмертная книга рассказов одного из старейших тюменских писателей Вениамина Васильевича Никольского. В нее вошли лучшие рассказы, печатавшиеся ранее в его сборниках «Родная семья» и «Испытание», выпущенных Тюменским книжным издательством в 1952-м и 1955-м годах.

«Беспокойные люди». Уже название сборника говорит о том, что герои рассказов — современники, люди с беспокойными сердцами, чистые, честные, влюбленные в свое дело. Сложный путь порою выпадает на долю многих из них. Но они умеют выдерживать все невзгоды, умеют выстоять. Зачастую помогает им в этом товарищеская поддержка. Писатель показывает также, как под влиянием многообразной жизни нашего общества и у не очень сильных, крепких людей открываются неожиданные для них самих очень хорошие качества.

Вот Тихон Самсонов, маленький, робкий, невзрачный мужичонка, прозванный еще в детстве за помощь, оказанную партизанам,

за мужественное поведение в колчаковском плену «Тишкой-орлом». (Рассказ «Тишка-орел»). Но не долго как-то сложилась жизнь Тихона, и теперь уже мало кто в селе Стародуме помнит, когда и по какому случаю прозвали так этого застенчивого, опустившегося в результате насмешек человека. Кажется, все. Ждать здесь нечего. Но вот наступает решительный момент в жизни Тихона. И писатель показывает, как раскрывается душевная красота этого неудачника.

Однажды, возвращаясь с охоты, Тишка-орел нашел на дороге портфель с большой суммой денег. Радость ошеломляет Тихона, перехватывает дыхание. Он растерялся. Первый раз в жизни видел он столько денег. И не только видел, но и держал в своих руках.

Не сразу и не вдруг соображает Тихон, как, откуда могли появиться эти деньги на дороге, а сообразив, не сразу решается отдать их. В его мозгу проносятся соблазнительные картины. «Первым делом, — думал Тихон, — купить трехстволку, с золотой насечкой, как у лесничего Архарова. Что ни попадись в лесу — на все сгодится: хоть на медведя,

хоть на козулю, хоть на птицу... Корову лучшую приобрести надо, ведерницу, как у зоотехника Шуркина. Пятистенную избу не мешало бы поставить!.. Будет чем отблагодарить и Дарью. Хорошая баба у тебя. — Он прикидывал, что нужно купить Дарье. — А самому вот, пожалуй, сапоги болотные еще справить надо. Обязательно надо...»

Ничего не видел и не слышал Тихон, прикидывая в уме, сколько будет стоить все, запланированное им. Оставшиеся деньги решил в сберкассе не класть, а спрятать куда-нибудь подальше: «Захотел вынуть — пожалуйста, в любое время! И подозрений не будет...»

Но планы его рушатся. После того, как первое радостное опьянение проходит, Тихон начинает мыслить более здраво. Он понимает, что решается не только его судьба. Деньги, потерянные колхозным бухгалтером, принадлежат колхозу. Следовательно, решается судьба односельчан, колхозников. И общественный долг берет верх над временными колебаниями, ставит крест на соблазнах.

Тихон возвращает деньги колхозу.

О жизни сельской молодежи, о большой чистой любви, о настоящей мужской дружбе повествуется в рассказе «Товарищи».

Первым послевоенным дням посвящен рассказ «Сын».

В. Никольский хорошо знал деревню, ее людей. Остальные рассказы сборника также посвящены этой теме.

Дм. БЕЛОГОРОВ. Близко к сердцу. Тюмень. Кн. изд., 1964, 164 стр.

Синеглазов сильно ударил по голове Кольку Чеканова. «Он и сам хорошенько не понимал, как все произошло, словно бы помню

его води. Чувствуя, что допустил большую оплошность, он прикидывал в уме, как выйти из сложного положения, в котором оказался. Все плотнее окружали его молчаливые, сурово нахмуренные люди, и он боялся поднять на них глаза. Он чувствовал на себе их осуждающие взгляды, и они жгли его согнутую спину. Нужно было разогнуться, сказать что-нибудь этим людям в свое оправдание, но он все не мог взглянуть им в глаза и не находил нужных слов.

Молча расступились люди, пропустили тяжело шагнувшего вперед Федора Чеканова. Он остановился против Синеглазова, прямой, с бледным, в пятнах лицом, словно рыба, ловя пересохшим ртом воздух. Он весь подобрался, как для прыжка на своего врага, зажатый в правой руке батог с металлическим набалдашником и пикой на конце взвился в воздухе».

Такие резкие столкновения героев, драматические ситуации характерны для повести Дм. Белогорова «Тополиная роща». Сложные взаимоотношения между Федором Чекановым и Терентием Фомичем Синеглазовым, Галей Белой и тем же Синеглазовым отражают то старое, тяжелое в жизни людей, что было характерно для периода господства культа личности.

Общественные и хозяйственные стороны жизни, морально-этические вопросы — такие, как честность, правдивость, доброе отношение к людям, преданность делу, которому служишь, — вот проблематика повести.

Кроме повести «Тополиная роща», в сборник включены рассказы: «Настенка», «Близко к сердцу», «Пятый», «Среди своих». В них показана жизнь наших современников во всей ее сложности, противоречивости и красоте.

Л. ЛАПЦУИ. Камень с надписью. Тюмень, Кн. изд., 1963, 62 стр.

«Камень с надписью» — первая книга ненецкого писателя Л. Лапцуй на русском языке. Это сборник рассказов о Ямальском крае, о его людях, о тех преобразованиях, которые пришли в край с установлением в нем Советской власти.

Когда читаешь рассказы, вырисовывается перед тобой Север с его бескрайней тундрой, быстроногими оленщиками, яркими сполохами в небе, пургой, со своеобразными реками, бытом, древними обычаями ненцев.

Живучи эти обычаи, живучи старые порядки. Нет-нет да и забьет где-то в свой бубен шаман. Много лет скитался он, изгнанный, а сейчас снова мутит народ. Выдать шамана — гнев богов на себя навлечь. Кто решится? Вот и прячут. Прячут, как правило, старики, те, что никак не могут расстаться с привычным чумом, с верой в богов.

Упорно цепляются они за старое. Вся жизнь прожита в чуме. Что из того, что он дымный, холодный, грязный. Вся жизнь прожита в темноте. А к чему грамота? Зачем знать русский язык? Зачем учить детей? «Мы неграмотные, а прожили свою жизнь не хуже других. Проживут и дети».

Любовь русской девушки к ненцу — грех, нарушение обычая. Трудные роды — оскорбила женщина небесных духов, обозлила их: ездил в красный чум, советовалась с русским врачом.

Порой все еще молодых ненок выдают замуж насильно, за большой выкуп. «Дочь свою, Саване, я обещал твоему сыну, — говорит старый Хабикэ матери Око-тэтто. (Рассказ «Саване»). — Твой сын дает за нее двенадцать оленей. Мало. Я прошу двадцать. Девушка сорока стоит. Я дешево отдаю, как другу»... Продают. И

совсем не думают о том, что у девушки может быть свой выбор, она может любить другого.

Много еще старого, косного в жизни ненцев. Но писатель показывает, как смело, уверенно вторгается в нее новое, светлое, как вытесняет оно все отживающее.

Это новое принесли с собой русские. Немало трудностей вставало на их пути, немало трудностей и по сей день. Но они упорны в достижении своей цели. К тому же им много и охотно помогает молодежь Севера. Молодые ненцы учатся в школах, интернатах, институтах. Смело ведут они борьбу со старым. Да и пожилые ненцы с укorenившимися, вьвшимися привычками, а также и те, что относятся к среднему поколению, но почему-либо остались непрамотными, в стороне от больших дел, начинают понимать преимущества новой жизни.

В книжечке десять коротких рассказов. Все они о рыбаках, оленеводах, о светлой жизни Севера.

О. ЧЕРНОВА. След, оставленный в тундре. Повесть. Тюмень. Кн. изд., 1963, 64 стр.

«След оставленный в тундре» — это повесть о людях, которые первыми принесли культуру народам Севера. Без колебаний, без страха вступили они в промороженные тысячелетиями просторы, построили в тундре культбазы, школы, фактории. Трудно было им. Суровая природа, запуганные шаманами невежественные люди. Но первые русские, советские учителя, врачи, библиотекари, преднебрегая трудностями и лишениями, упорно шли к цели. И даже смерть не могла остановить их.

Это повесть о замечательной русской девушке — фельдшернице, ласково прозванной ненцами «Та-

рана-лекарь», что в переводе на русский означает «необходимый, нужный лекарь», о ее трагической судьбе. Это повесть о младшей сестре Тараны-лекаря — Соне Симбирцевой, отправившейся на Север по следам таинственно исчезнувшей сестры, о ее друзьях — рабочих красной чума.

Твои товарищи. Тюмень. Кн. изд., 1963, 137 стр.

«Твои товарищи» — литературно-художественный сборник для детей.

На его страницах ребята встретятся с новыми произведениями тюменских поэтов и прозаиков, знакомых им по ряду детских книжек, выпущенных Тюменским книжным издательством.

Проза сборника представлена светлым, поэтическим сказом Ивана Ермакова «Голубая стрекозка», рассказом Ольги Черновой «Монеты в Настинных косичках» — о лу-

тешестве школьников во время каникул на место древнего города Мангазея, рассказами Станислава Мальцева и Михаила Лесного «Честь класса», «Факир».

С новыми стихами выступают Михаил Лецкий, Юван Шесталов, Андрей Тарханов.

Есть в книжке интересные разделы — «Рассказы охотников, рыболовов, любителей природы», «Невыдуманные истории», «Уголок краеведа», «Наши славные земляки», прочитав которые, ребята узнают много интересного, полезного.

Не забыты и ребята младшего возраста. В разделе «Для малышей» они прочитают интересную сказку К. Лагунова о приключениях Кукурузинки — называется она «Кукурпах», рассказ И. Давыдова «Волшебная удочка», сказку Г. Шаталова «Про петушка», а также веселые стихи Е. Фейерабенда, М. Лецкина, Вл. Суслова, А. Шестакова.

«ЛЕТОПИСЬ СЕВЕРА»

В ближайшее время выходит в свет очередной (№ 4) том сборника «Летопись Севера». Это единственное в стране научно-популярное издание, посвященное истории географических открытий, исследований и освоения районов Севера и Сибири.

Очередной том «Летописи Севера» содержит обширные и разнообразные материалы. Подробный обзор знакомит с работой дрейфующих станций «Северный полюс», воздушных высокоширотных экспедиций и другими исследованиями, проведенными за последние 10 лет в Центральной Арктике. В одной из статей разбираются опыт и уроки первых арктических навигаций 1932—1940 гг. Печатаются заметки военных лет известного полярника А. И. Минеева. На основании архивных данных рассказывается о забытом русском ученом Третье Борноволокове. Интересны сведения о первом на Печорском Севере замшевом заводе, о ранних русских поселениях на Аляске. Внимание читателей привлекут рассказы о ледовых походах диксонских гидрографов, обзор новых населенных пунктов современной Камчатки.

В разделе «Зарубежный Север» печатаются статьи об Аляске, в частности, о развитии ее золотодобывающей промышленности. Одна из статей описывает деятельность «компании Гудзонова залива» за первые сто лет ее существования. Публикуется интересная зарубежная хроника.

В томе имеется большой раздел критики и библиографии. В отделе сообщений можно прочесть об открытии Талнеха — нового месторождения медноникелевых руд на Таймыре, юбилее норильских серноокислотчиков, строительстве таежной железной дороги Урал—Обь.

Следователь по особо важным делам рассказывает о расследовании обстоятельств смерти Н. Безичева. Печатается краткая биография полярного исследователя Б. А. Вилькицкого. Интересен рассказ о том, как было отражено нападение на Камчатку японцев в период русско-японской войны. Одно из сообщений посвящено происхождению снежных «иглу» — жилищ эскимосов.

Объем тома — 16 печатных листов. Цена в переплете — 95 коп.
Заявки необходимо направлять в областную контору книгооторга.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий КОВАЛЕВ — Прости. Стихи	3
В. ПЕТРОВ — Два пути. Стихи	5
Светлана СОЛОВЬЕВА — Стихи	6
Ф. ЧУРСИН — Отъезд. Стихи	7
ЮВАН ШЕСТАЛОВ — Моя тетя. Ай-Теранти. Рассказы . . .	8
Я. АКИМ — Друг. Стихи	24
Юван ШЕСТАЛОВ — У ручья. Стихи	26
Анатолий КУКАРСКИЙ — Люди. Стихи	28
И. ЕРМАКОВ — Топор твой — соловьиный звон. Сказ . . .	29
Михаил ДЕМИН — Сибирское утро. Стихи	45
Мих. НАЙДИЧ — Первый поцелуй. Стихи	47
Андрей ТАРХАНОВ — Если верен обычаем. Стихи	49
В. ФАЛЕИ — Камаринская. Стихи	50

ОЧЕРКИ

Евгений АНАНЬЕВ — Пламя тундры.	51
Л. СЛАВОЛЮБОВА — Неделя начинается с воскресенья... .	59
Михаил ЛЕЦКИН — Баллада о костре. Стихи	75
Михуль ШУЛЬГИН — Косачи. Стихи	77
Вл. НЕЧВОЛОДА — Стихи	78
К. МАГУНОВ — Так было. Главы из романа	79
Станислав НАЗАРОВ — Литературные пародии	142

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Вл. СУСЛОВ — Дымок. Экскаватор. Стихи.	146
Вл. СИДОРЕНКО — Вездесущая птица. Рассказ	148
З. БЕЛОВА — Корень мудрости. Сказка	152

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. КЛЕПИКОВ — Новь тюменская в очерке и рассказе . . .	161
--------------------------------------------------------	-----

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Ю. РЯБОВ — Тобольские находки	174
Л. БЕСПАЛОВА — В. Г. Короленко в Тобольской губернии .	180

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД

Ю. ВАСИЛЬЕВ — Рабочий класс Сибири в труде как в бою	186
Коротко о книгах	195

ЦЕНА 50 коп.